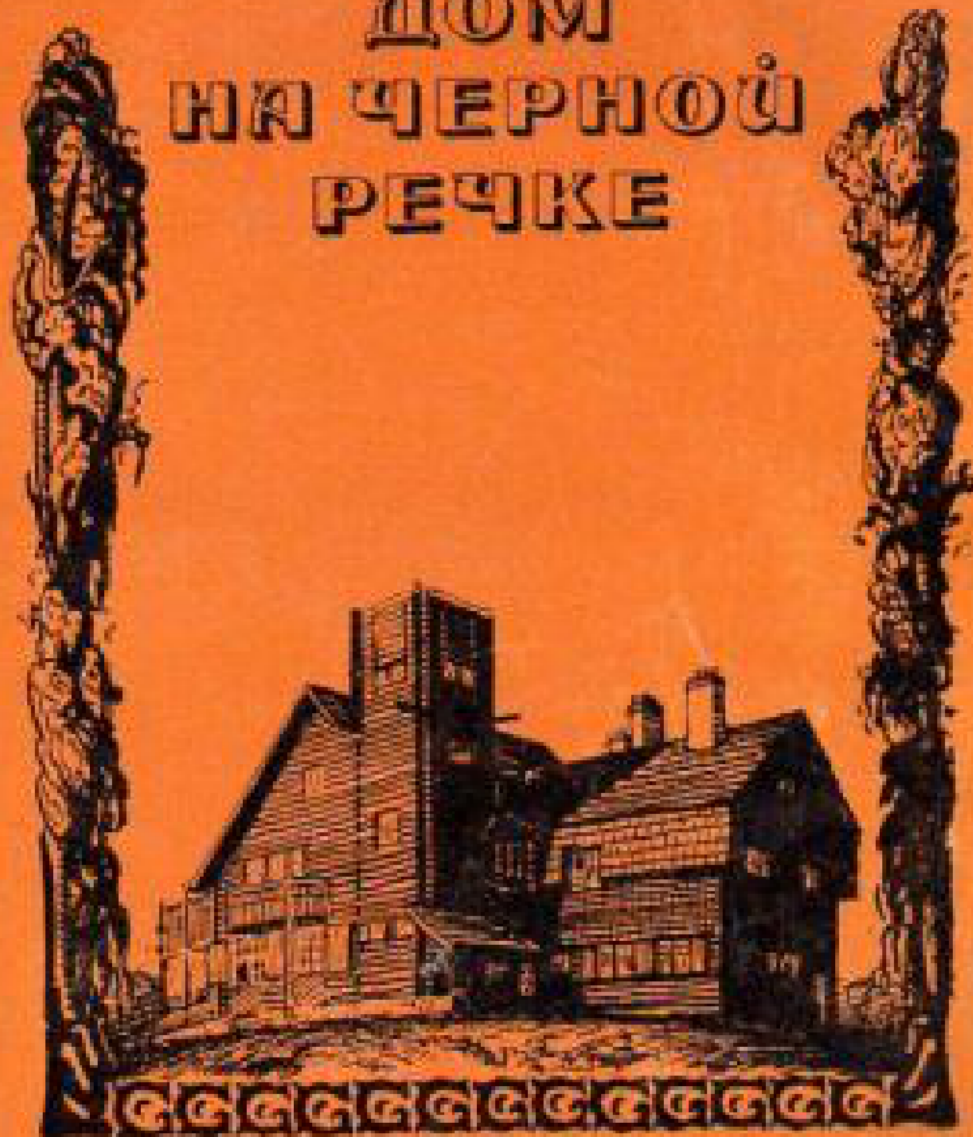


ВЕРА АНДРЕЕВА

**ДОМ
НА ЧЕРНОЙ
РЕЧКЕ**





SHOUT
SHARE **IT**

Annotation

Повесть "Дом на Черной речке" основана на автобиографическом материале. Ее автор - дочь известного русского писателя Леонида Николаевича Андреева - рассказывает о жизни своей семьи, воссоздает образ отца, описывает его окружение. Интересные страницы посвящены И.Е. Репину и его "Пенатам".

- [Дом на Черной речке](#)

Дом на Черной речке

Мне часто снится один и тот же сон. Он преследует меня. Стоит мне уснуть, как знакомое чувство тревоги охватывает душу. Делается душно, и больно колотится сердце. Я знаю, что сейчас будет.

Летний вечер. Тишина. Зарево заката охватило полнеба. Я иду по незнакомой дорожке, но я знаю, что это дорожка нашего сада, что вот сейчас из-за поворота покажется красная крыша нашего дома с его белыми трубами и башней.

Вот и дом!

Так это неправда, что его нет! Он жметя своими крышами к башне, как будто охваченный каким-то страхом. Он стоит на пригорке, и заходящее солнце окрашивает его в красный цвет. Красным горит его крыша, красным светятся его стены, увитые диким виноградом, окна пылают бездымным, загадочно беззвучным пламенем. Он весь горит, как факел, и только крыши жмутся к башне в непонятной тревоге. Мне делается страшно.

В самом деле, почему такая тишина? Почему из кухонной трубы не поднимается дым, почему никого не видно? Я хотела бы остановиться, но ноги сами несут меня, я скольжу невесомо над самой дорожкой, а дом медленно поворачивается передо мной, приближаясь, как в немом кинокадре. Совсем близко я вижу его детали: в увеличенном виде, очень отчетливые, они плавно проходят перед глазами. И тут я замечаю, что некоторые окна разбиты, что на крыше зияют дыры, а башня покосилась и в безумном страхе тарашит на меня уцелевшие окна. Вот я уже внутри.

Какой ужас! Все сломано, разбито. Лестница покосилась, в ней черные провалы. Теперь я вижу, что дом только каким-то чудом удерживается на месте, — стоит только ступить на лестницу, как она упадет, рассыплется в прах. Но я иду внезапно отяжелевшими ногами, шаркаю по пыльному полу, лезу по каким-то балкам, с мучительным чувством всматриваюсь в углы, как будто ищу кого-то.

Комнаты мертвы. Уцелевшие окна покрыты пылью, паутина кутает потолки своей серой безжизненной пеленой, и только закат бросает на стены живые кроваво-красные пятна.

Где же папа, мама?

«Ну да, их же нет, они умерли», — вспоминаю я. И вдруг из отдаленной двери выходит мама. У нее вполне обычный вид, на седых волосах повязка, в руке метла. «Что же ты стоишь, здесь надо прибрать!» — говорит она, на ходу поправляя загнутый угол

пыльного ковра. С радостным криком я устремляюсь к маме, но она отворачивается равнодушно и уходит, исчезает за каким-то занавесом, и только его пыльные складки еще колеблются за нею. Я протягиваю руки, хочу бежать вслед, но в полу провалы, я балансирую на расшатанных балках над пропастью, цепляюсь за трухлявые доски, мои ноги скользят, я проваливаюсь. С невыразимым чувством ледящего страха, от которого шевелятся волосы и останавливается сердце, я падаю... И просыпаюсь вся в слезах, с криком, еще звучащим в сонной тишине ночи.

Почему мне никогда не приснится наш дом, мой любимый дом на Черной речке, таким, каким я его помню?

Большим, красивым, полным шумной жизни. Он гордо стоит на холме, его широкие трубы четко вырисовываются на синем небе. Красная крыша весело светится на солнце, от ворот едут коляски. Это гости. Медный гонг звучными ударами сзывает всех к чаю.

На кухонное крыльцо выходит тетя Наташа. Она сбивает белки для чего-то вкусного, и звонкие удары вилки по тарелке доносятся до самых отдаленных уголков сада, где мы возимся с постройкой своего жилища-шалаша или сидим на ветках излюбленных деревьев, раскачиваясь и напевая «Шумел, горел пожар московский...».

В скользящей тени берез, отдельной группой стоящих на лужайке перед домом, сидит папа за столом, уставленным всякой снедью. Пыхтит самовар, пуская тоненькую струйку пара. Около него суется бабушка, перетирая и без того чистые стаканы. Самый большой стакан она наполняет крепким пахучим чаем и протягивает папе. Он берет его своей небольшой загорелой рукой, с обручальным кольцом на среднем пальце. Как весело, как добродушно улыбаются его темные глаза, как хорошо, светло все кругом!

Через призму лет, долгих лет, наполненных лишениями, горем и смертью, кажется, что веселый шумный дом потерял свои живые краски, радость и тепло. Он превратился в мертвую развалину, в страшный дом моего сна. Все умерло, истлело, давным-давно забыто. Все, что, казалось, было создано для радости, для счастья, каким-то злым волшебством превратилось в горе и смерть. Призрачный дом населяют призраки давно умерших людей, и эхо их голосов шелестит в пустых пыльных комнатах — ты помнишь?..

Наша детская — большая и светлая комната. У меня уютная кроватка с опускающейся сеткой. Последнее, что я вижу, засыпая, это печь — большая кафельная печь, занимающая весь угол комнаты. Она светлая, красивая, наверху цыплята — ярко-желтые, веселые, — идут себе друг за дружкой по зеленому полю.

Над кроваткой — часы с кукушкой. Очень милая избушка, похожая на ту, что в моей любимой книжке, но не такая страшная, — там, на картинке, забор из кольев, на которые насажены черепа с горящими глазами, а вокруг темный и дремучий лес... Подходящее жилище для бабы-яги, что и говорить! В нашей избушке живет вовсе не баба-яга, а веселая и жизнерадостная кукушка. Впрочем, ее появление тоже не лишено таинственности. В какой-то определенный, но всегда неожиданный момент широко распахиваются расписные ставни окошка, оттуда высовывается кукушка и, проворно кланяясь, начинает звонко выкрикивать свое «ку-ку». Иногда она кричит долго, так, что сбиваешься со счета, а иногда мало, всего даже раз, и сразу скрывается, как будто чего-то испугавшись. Как нарочно, она никогда не появляется, когда этого хочешь, но только отойдешь и забудешь про нее, как она выскакивает, — такая насмешница. Внизу висят две гири в виде еловых шишек — одна повыше, другая пониже.

Когда мне надоедает считать цыплят на печке или рассматривать избушку, я подолгу разглядываю узор из черных и коричневых кружочков от сучков на светло-желтом деревянном потолке, силясь понять, что он изображает. Почему-то я никогда не могла прийти к какому-нибудь определенному решению, так как кружочки начинали смешиваться и расплываться у меня в глазах. Особенно уютно было рассматривать потолок, когда по нему скользили блики и тени от горящих в печке дров, — они ласковые и теплые, совсем нестрашные. Глаза сладко слипаются, а в соседнюю комнату приоткрыта дверь, оттуда падает на пол широкая полоса желтого света и слышатся приглушенные голоса. Иногда звякнет ложечка, мамин голос скажет нежно: «Ну, Сапатосик, не пора ли тебе спать?» Что отвечает Саввка, мне уже не слышно, так как я медленно опускаюсь на дно глубокой сонной реки широкими плавными взмахами — взмах направо, взмах налево, все глубже, глубже... Так опускается на дно брошенный в воду кусок тонкой жести. А дно-то у речки теплое, пухлое, все усталое снами.

Утром я просыпаюсь от громкого голоса тети Наташи, которая что-то говорит няне Паше. С неудовольствием я поднимаю голову с подушки и, еще не совсем проснувшись, тупо смотрю вокруг. Что такое? Как все изменилось! Комната залита ярким светом, зимнее солнце ослепительно сияет в морозных узорах окон, все предметы и мебель кажутся новыми, какими-то праздничными. Какой пестрый, веселый линолеум на полу, какой белый, блестящий стол! На высоком стульчике с перильцами уже сидит Тинчик, мой младший братишка. У него в руке зажата ложка, которой он звонко ударяет по пустой коробочке из-под монпансье, в то время как няня Паша ловко засовывает ложку с кашей в его маленький ротик.

Спать уже вовсе не хочется, прилив бодрости щекочущей волной поднимается где-то в желудке и быстро распространяется по всему телу. Я вскакиваю и кричу басом: «Няня, одеваться!» Но она делает вид, что не слышит, и я с неудовольствием вспоминаю, что с недавних пор мне приказано одеваться самой. Какое неприятное и сложное занятие! В особенности проклятый лифчик с пуговками, к которым пристегиваются резинки для чулок и штанишки, всегда приводит меня в крайнее замешательство, — я забываю, которую петлю нужно застегивать первой, которую второй, а тут еще пальцы вспотели... Наконец все как будто надето правильно, но лифчик почему-то скривился на сторону, а чулки спиралью крутятся вокруг ног. Приходится все-таки няне вмешаться, и под аккомпанемент ее ворчания ловкие пальцы в три счета разбираются в сложной системе петель и пуговиц, все выравнивается, нигде не тянет, не жмет — чудеса, да и только! Потом меня тащат в ванную — это тоже новшество, так как раньше я умывалась тут же, в детской, в своем собственном маленьком тазике.

Я одета, умыта и рвусь к окну, но няня уже вносит тарелки с едой и чашки с молоком, конечно, горячим, и с отвратительными морщинистыми пенками. Этим молоком щедро заливают холодные лиловые куски «смоленской каши», которую мы все дружно ненавидим и зовем почему-то «курчонок». Приходится, однако, есть, так как няня с грозным видом стоит над душой, и не в моих интересах ее сердить — пожалуется потом тете Наташе или, упаси бог, маме, и тогда нечего и думать о прогулке, наверняка не пустят, да еще и в углу придется постоять.

Наконец «курчонок» съеден, какао выпито, и я могу делать, что хочу, пока между взрослыми идет совещание — можно ли выпускать детей в пятнадцатиградусный мороз и что следует в таком случае на них надеть.

Я взбираюсь на возвышение перед окнами, расположенными

под углом друг к другу. Двойные стекла густо покрыты морозным узором — таинственные тропинки среди пышных пальм и диковинных папоротников. «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей», — как будто шепчет мне кто-то маминым голосом. Между стеклами подушка из ваты, а в ней углубления с рюмочками, наполненными темно-желтой жидкостью, — для чего она? Савва сказал, что это яд. Как страшно! Жидкость медленно подсыхает по краям, и в ней виднеются останки злополучной мухи, поплатившейся жизнью за неуместное любопытство. Но морозные узоры так весело розовеют, искрятся, края пышных листьев так красиво вспыхивают бенгальским огнем, что страх быстро проходит, — кто знает, может быть, Савва наврал про яд и муха там просто утопилась?

Совещание взрослых заканчивается в нашу пользу, и начинается тщательное одевание. Очень долго натягивают рейтузы из верблюжьей шерсти, валенки, шубки, завязывают под подбородком ленты капоров.

Наконец выходим. До чего же красиво и весело на дворе! Расчищенные дорожки — одна широкая, от парадного крыльца, плавным поворотом упирается в ворота, другие, поуже, ведут к дворницкой, на задний двор, к конюшням. По сторонам дорожек вздымаются высокие снежные валы со следами метлы — это дворник Никанор подметал выпавший ночью снег. Молоденькие березки, совсем пушистые от инея, стоят неподвижно, а солнце зажигает на их ветвях свои холодные, но ослепительные огни.

Вооруженные ведерками и лопаточками, мы набирали снег, сыпучий и сухой, как сахарный песок. Мы и воображали, что это сахар, и без конца играли в лавку и купца, торгующего сахарным песком и скрипучей картофельной мукой.

Сколько времени прошло, когда мы успели вырасти, я не могу сказать, но эти развлечения с купцом мы вспоминали с презрительной усмешкой чуть ли не на другой год, как мне казалось. Опять была зима, опять мы надевали свои рейтузы, но уже не шубки и капоры, а спортивные свитера из той же знаменитой верблюжьей шерсти, такие же вязаные шапки с какими-то особенными прорезями для глаз и теплые варежки. Еще бы, ведь теперь мы опытные спортсмены, у нас лыжи и санки!

Небольшая комната около кухни вся заставлена санями и лыжами. Тут лыжи короткие и широкие для ходьбы по глубокому, пушистому снегу, длинные и узкие для гоночного бега. Они не для нас, а для папы, наших бесконечных дядей и прочих гостей. Наши лыжи куда более скромные с виду — поцарапанные, с облупленными носами, с заскорузлыми ремешками, они тем не менее бесконечно дороги нашему сердцу — они легкие, удобные,

и как ловко залезает валенок в эти самые потрепанные ремешки!

Саней тоже было великое множество — большие, маленькие, норвежские, финские, они в порядке стояли вдоль стены. Среди них выделялись весьма курьезные швейцарские сани — длинные, узкие, с большим рулем. Говорили, что на них надо ложиться животом, а руль поворачивать руками. Папа с гордостью демонстрировал сани гостям, распластывался на них, крутил рулем, а гости удивлялись и восторженно ахали. Впрочем, я никогда не видела этих саней в действии, так как фантастическая поза катающегося и узкие, врезающиеся в снег полозья, видимо, не только нам одним не внушали доверия. Были еще в комнате необыкновенные финские сани — келки или подкукелки — сооружение, похожее на стул, стоящий на длинных узких полозьях. Перед стулом полозья загибались, заканчиваясь угрожающе острыми концами.

Человек боязливый — обыкновенно это была тетя Наташа — с опаской усаживается на хлипкий стульчик, умоляя «ехать потише». Храбрая спортивная личность, вроде меня или Саввки, становилась сзади на полозья, специально утолщенные в этих местах — в виде площадочек для ног. Держась руками за спинку стула, одной ногой стоишь на полозе, а другой отталкиваешься — вполне остроумный способ для транспортировки разных немощных особ по хорошо укатанной дороге. Впрочем, мы никогда не завидовали тем, кто сидел на стульчике, — его явная неустойчивость и полная беспомощность сидящего требовали большого искусства и хладнокровия со стороны водителя. По ровной дороге оно еще было безопасно, но с горки проклятые подкукелки развивали бешеную скорость, и «жертва» могла только жалобно вскрикивать или ругаться, — оба эти проявления ее темперамента ни в коем случае не могли задержать неумолимый ход событий.

Один раз подкукелки, везшие одну знакомую даму, понеслись с горы и врезались в какое-то препятствие. Водитель, оглушенный визгом дамы, остался далеко позади и мог только наблюдать страшные последствия катастрофы — от толчка дама слетела со стула прямо на загнутые, подобно рогам севильского быка, концы полозьев... Раздался душераздирающий вопль... Ужасная история! Потом бедняжка еще долго, ссылаясь на острый приступ ишиаса, не могла без содрогания сесть даже на мягкое кресло, а подкукелки были прокляты и с тех пор мирно ржавели среди всякой рухляди в чулане.

Из всего множества саней мы облюбовали одни. Они были большие, тяжелые, обитые темно-зеленым сукном, и сидеть на них было мягко и удобно. С горы они летели быстро, бесшумно,

никуда не сворачивая. На сани мы не садились просто, как обыкновенные люди, с торчащими по бокам ногами, а лихо вскакивали сзади на одно колено. Правая нога волочилась сзади, где нужно нажимая и описывая за санями зигзаги, наподобие руля у лодки. Конечно, валенок сильно страдал от такого управления, и вскоре у всех наших валенок с правой ноги красовались на носу кожаные заплаты.

Из-за глубокого снега кататься можно было только по укатанным дорогам. Недалеко от нас был перекресток — три дороги с разных сторон спускались вниз и около маленького заросшего пруда перекрещивались. Мы тайком уходили туда, так как взрослые не поощряли езду по дорогам: там всегда была опасность столкновения с какими-нибудь крестьянскими санями или даже, упаси бог, с автомобилем. Правда, автомобили существовали больше в разгоряченном воображении бабушки и тети Наташи, чем в действительности, но раз мы в самом деле видели автомобиль. Он проехал — черный, удивительно элегантный, красиво сигналил на поворотах, — даже собаки все попрятались от неожиданности, а мы долго бежали следом, замирая от восхищения.

На Трехглавой горке произошло много событий, вошедших в историю нашего детства: вот канава, в которую свалилась тетя Наташа, когда училась ездить на велосипеде, вот домик старушки, где в моем воображении жил тот самый геройский песик Фунтик, спасший свою неблагодарную хозяйку от страшных хабьасов.

Это папа рассказывал нам про хабьасов — страшный марш, который они напевали, все еще звучит в моей памяти: «Пойдем, пойдем в избушку, съедим старика и старушку!..»

Интересно, откуда взялись эти полугномы-полупризраки — таинственные лесные существа? Невидимые человеку, они были тем не менее обнаружены чутьем верного пса. Была ли это папина неистощимая фантазия или существовали хабьасы в поверьях русского народа? Я так и не узнала этого, но их загадочные образы, коварно-ласковые, хитрые, неуловимые, выразительно представленные папой, навсегда остались жить в моем воображении. Сгорбившись и хитро прищулив глаза, папа крался, припадая к земле, и в такт движениям приговаривал монотонно и зловеще: «Пойдем-пойдем в избушку...» Как нам становилось жутко, с каким облегчением мы вздыхали, когда совсем другим, веселым тоном папа говорил: «Фунтик залаял, хабьасы испугались и убежали!»

Мы очень радовались, когда после оттепели глубокий снег покрывался крепким ледяным настом и мы получали

возможность кататься без дорог, с любой горки.

Особенно хороша была гора Колдуньи — высокая, страшно крутая, она размашистыми уступами спускалась на широкое поле. Свое название гора позаимствовала из сочинений Хаггарта, которыми мы увлекались. В его романе «Нада» было два героя: Умслопагас и Галаци-волк. Они охотились со стаями своих друзей-волков по диким уступам горы Колдуньи, нечистого места, проклятого зулусами. В романе были чудесные картинки, на одной был изображен Галаци, сидящий в задумчивой позе где-то наверху, на горе. Он был необычайно красив — гордое лицо, небрежная поза мускулистого тела, вокруг бедер волчья шкура. Под картинкой написано: «Галаци-волк сидел на камнях Колдуньи...» С тех пор прошло чуть ли не полвека, но я все помню выражение тоски, с которой он всматривался с высоты в очертания родной деревни далеко внизу, откуда его изгнали суеверные и глупые люди.

Не знаю, как мы решились один раз съехать со знаменитой горы. Мы как-то не успели хорошенько сообразить, что делаем, как сани уже заскользили вниз. Они почти не касались земли — с уступа на уступ они летели просто по воздуху. Во мгновение ока мы очутились внизу и там врезались в занесенную снегом канаву. Пробив наст, сани резко остановились, и мы совершили сложный полет друг через друга, причем тот, кто сидел сзади, очутился впереди всех на снегу.

Мы обалдело сидели, оглядывая друг друга, а потом разразились громким, но довольно-таки нервическим хохотом. Только окончательно оправившись, мы смогли с восхищением осмотреть след наших дерзновенных саней на девственной поверхности горы Колдуньи, — он действительно прерывался в тех местах, где мы летели по воздуху.

Нас было трое: Тин, самый младший, Саввка, старший, и я — девочка между ними. Я горько сетовала на судьбу, сотворившую меня девочкой, и жгуче завидовала братьям, стараясь ни в чем не отставать от них. Надо сказать, что это мне удавалось довольно хорошо, так как сами мальчишки порой забывали, что я девочка, и никогда не изгоняли из своей компании. Мы дружно поливали презрением своих многочисленных родственников, всяких там двоюродных и троюродных сестриц, за их страх перед мышами, пауками и змеями, за их неумение влезть на дерево или перепрыгнуть канаву. Мы ни с кем особенно не дружили, держались гордо и независимо, слывя на всю округу отчаянными сорванцами.

С финскими мальчишками у нас была вражда, едва прикрытая холодным нейтралитетом, который время от времени

прерывался «вооруженными» столкновениями.

Однажды мы катались с очень удобной, хорошо накатанной горки, проходившей через «вражескую» деревню. Когда мы в очередной раз взобрались наверх и уже усаживались на санки, внизу неожиданно появилась шайка финских мальчишек, вооруженных до зубов кольями, выдернутыми, видимо, из своих же «финских» заборов. С угрожающими криками, среди которых можно было различить и неизменное: сатана, пергола, юмалаута! — они двинулись наверх, не оставляя ни малейшего сомнения в своих намерениях. Миг короткого замешательства — что делать? Ехать вниз, но они только этого и ждут, убежать тоже поздно — догонят. Между тем «неприятель» продвинулся уже до середины горы — медлить было нельзя. С отчаянной и веселой решимостью мы уселись на санки, рулевой хорошенько разогнал их, вскочил сзади на колено, и вот мы несемся, все ускоряя ход, прямо на мальчишек. Они расступились, встали по обе стороны дороги и подняли палки с очевидным намерением опустить их на наши головы в тот момент, когда сани будут пронеситься мимо. Мы закрыли глаза и втянули головы в плечи... Раздался свист воздуха, рассекаемого дубинами, и... удар обрушивается на дорогу за нами — они не попали! Внизу мы слезли и долго глумились над одураченным врагом, благо находились уже в нейтральной зоне.

Чаще, чем на санях, мы отправлялись кататься на лыжах. Нельзя сказать, что мы имели какое-нибудь хотя бы отдаленное понятие о слаломе и прочих лыжных маневрах, но мы лихо съезжали с изрядно крутых гор, террен которых изобилует всякими коварными пнями, полузанесенными заборами и канавами.

У нас был свой неписанный закон чести, по которому считалось недопустимым и постыдным смалодушествовать перед препятствием и пустить в ход природный тормоз — на полном ходу просто сесть в снег. Глубокая рытвина в снегу, оставляемая сзади, яснее слов говорила о проявленной трусости, и лучше было влететь в овраг, сломать лыжу, чем услышать слово, брошенное сквозь скривленные презрением губы: девчонка! Кроме постыдности такого рода торможения этот способ таил в себе и ряд других неприятностей. Сидишь, бывало, в глубокой борозде и с тоской следишь за своей лыжей, которая бесшумно и проворно исчезает где-то за кустами на дне оврага. Изволь потом, проваливаясь выше колен, брести по снегу, лезть в овраг, продираясь сквозь кусты, вылезать — все это под огнем уничтожающих взглядов дорожных братцев.

Самым восхитительным был, конечно, бег по укатанной

лыжне, когда летишь, отталкиваясь палками, и от избытка чувств воешь диким голосом, изображая охотящуюся стаю волков из «Белого клыка». Вечереет, кругом «белое безмолвие», только лыжи ритмично постукивают да разноголосый вой жутко разносится в промерзлом лесу.

Домой мы вваливаемся красные, разгоряченные быстрым бегом. Начинается раздевание на скамейке в прихожей, которая вся заваливается нашей задубевшей, распространяющей холодный морозный запах одеждой. Из валенок вытаскиваются спрессованные куски снега, смешные рукавицы, смерзшиеся в комок, еще долго сохраняют следы лыжных палок — круглые заледеневшие отверстия посередине. Тетя Наташа суетится, бабушка ужасается, а в дверях появляется папа и с довольным видом щурит глаза.

Иногда папа уступает нашим просьбам, надевает свои огромные валенки, отделанные кожей, и, веселый, с развевающимися ушами меховой шапки, отправляется вместе с нами. Мы страшно любили эти прогулки с папой. Он выдумывал всякие замысловатые состязания, он вникал во все наши законы езды и тут же сочинял новые, хохотал вместе с нами и валялся в снегу, смешно задирая черную бороду, когда снег забирался за шиворот.

Один раз в конце зимы мы пошли с папой на берег моря. Оно было белое, замерзшее до самого горизонта, где слабо виднелись дымки Кронштадта. Ровная, однообразная его поверхность была кое-где испещрена пешими и, конными следами и никак не привлекла нашего внимания. Но у берега была навалена широкая гряда вкривь и вкось нагроможденных льдин. По-видимому, задолго до того была сильная буря, ветер в море взломал лед, поднял уровень воды, как это часто бывает в этом месте Финского залива, и волны нагромодили льдины на широкий пляж. Потом вода спала, а лед остался на берегу. Это было похоже на лунный пейзаж — такие же фантастические горные хребты, кратеры и остро ограниченные тени. Только не было безжизненности, холода бесконечных космических пространств, — здесь весело сияло ласковое солнце — и огромное, беспричинное веселье охватило нас.

Мы карабкались по льдинам, прыгали с одного тороса на другой, скользили, падали, куда-то проваливались. Вдруг папа, шедший впереди, как-то странно взмахнул руками и исчез — бесшумно провалился в самые недра земли. Осторожно приблизившись, мы увидели дыру среди льдов, а внизу обширный грот, дно которого было устлано гладким и твердым песком, а потолок весь сквозил и сиял голубовато-зеленым волшебным

светом. На дне грота стоял папа и с таинственным видом манил нас к себе. С мягким шуршанием льдины провалились, расступились, и мы плавно опустились на дно. Сквозь ледяной покров светило солнце, и зеленый призрачный свет струился сверху. Мы стояли разинув рты в немом восхищении, а на папином лице было мечтательно-счастливое выражение, делавшее его молодым и неправдоподобно красивым. Потом нас охватило буйное веселье, мы лезли вверх и мягко проваливались, и льдины ласково шуршали, и новые волшебные пещеры открывались нам, и мы хохотали и кричали, и наши голоса звучали то глухо, как из-под земли, то звонко, как в пустом зале.

Папа был остроумным и веселым старшим другом, учителем и озорным товарищем наших игр, но я помню его и другим.

Он сидит за столом, заставленным всякими кушаньями и посудой, но перед ним стоит один его большой стакан с крепким, почти черным чаем. За столом много людей, все говорили, смеялись, а теперь смолкли и слушают, что говорит им папа своим глуховатым, сдержанно взволнованным голосом. Его лицо с блестящими глазами выразительно и красиво. Я не понимаю ни слова из того, что он говорит, но я слышу звук его голоса, слежу за игрой его лица, за движениями его ширококато́й руки с обручальным кольцом на среднем пальце. Вот его рука зажигает спичку, папа замолкает и закуривает, — он совершенно меняется: на его лице, ярко освещенном лампой, застывает тяжелое, скорбное выражение. Брови нахмурены, между ними пролегла глубокая складка. Глаза потухли и с каким-то болезненным ужасом смотрят прямо перед собой. «Может быть, у папы вдруг заболела голова?» — думаю я вскользь, так как все мое внимание поглощено спичкой, про которую папа забыл и которая все еще горит в его пальцах. С замиранием сердца я жду, когда огонь до них доберется, — тогда папа опомнится, тряхнет рукой, спичка потухнет. Неужели он не чувствует жара, ведь сейчас обожжется, вот сейчас! Невольный вздох вырывается у меня, потому что папа вдруг встряхивает рукой, спичка гаснет, а он, как бы проснувшись, взглядывает на собеседника, который уже раз пять спрашивает его о чем-то. Его выражение опять изменилось, оно сделалось таким же, каким было всего минуту тому назад. Но какое-то смутное беспокойство остается во мне, какой-то осадок, — может быть, папа болен?

Может быть, в первый раз я задумываюсь над странной ночной жизнью папы. Ведь мы довольно редко видим его днем, только после обеда он выходит из спальни. Что он делает по ночам вместе с мамой в своем большом, мрачном кабинете? Всем известно, что он работает, пишет сочинения, я тоже это знаю,

хотя не совсем себе представляю, в чем заключается этот процесс. Сколько раз я захожу в папин кабинет, стараясь увидеть там следы его деятельности, но там пусто, прибрано, только на огромном письменном столе стоит пишущая машинка «Ремингтон».

Убранство кабинета мне известно до мельчайших подробностей. Пол устлан темно-синим гладким ковром, мебель тоже темная, кажется коричневая. Тяжеленные дубовые кресла с высокими спинками, наверху какие-то украшения, — похоже, что там уселся черный ворон и вот-вот клюнет сидящего в голову.

На письменном столе кроме машинки «Ремингтон» еще множество бумаг, перьев, карандашей. Медная змея, угрожающе поднявшись на хвосте, открыла пасть и высунула раздвоенный язык — на нем висят круглые, как шар, стеклянные часы. Они очень смешны — круглое стекло преломляет лучи света, и стрелки кажутся то коротенькими и толстыми, то длинными, невероятно тощими. Сзади сквозь стекло виден весь механизм часов: там проворно движутся во все стороны бесчисленные колесики, шестеренки, — очень интересно!

На другой стороне стола сидит на камне бронзовая горилла. Она держит в руке человеческий череп и, задумавшись, очень внимательно его рассматривает, даже палец другой руки положила себе на подбородок — совсем как человек, который что-то соображает. Но тонкие, благородные очертания человеческого черепа являют глубокий контраст с низким звериным лбом и могучими челюстями обезьяны. Может быть, этот контраст поразил и гориллу?

Над громадным камином — картина, нарисованная углем на сером картоне. Это копия картины Гойи. Она занимает почти полстены — там изображены в человеческий рост два черта. Они, видимо, собираются на какой-то бал у себя в аду и тщательно занимаются своим туалетом. Один сидит, выставив вперед мозолистую ногу и молитвенно подняв голову к небу, а другой, вооружившись здоровенными ножницами, стрижет ему страшные загнутые когти. Лица у чертей человеческие, — у того, кто стрижет, даже вытянуты от усердия губы, — а над ними распростерты их перепончатые, как у летучих мышей, крылья, с когтями на концах. У меня к этой картине особенное отношение. Кто-то сказал, что я, когда пишу или что-нибудь старательно делаю, то выпячиваю губы, как тот гойевский черт. Я подолгу всматриваюсь в его безобразное лицо и в эти губы и с обидой думаю — неужели действительно я на него похож?

С другой стороны камина на таком же сером картоне, как и черти Гойи, нарисован еще один черт. Или это уже не просто черт, а сам сатана или, может быть, рок? Он сидит на земном

шаре и держит на коленях большую раскрытую книгу. В одной руке у него гусиное перо, другая рука своим длинным указательным пальцем с загнутым когтем на конце в знак внимания показывает вверх. Длинные мохнатые уши насторожены — от их слуха ничего не уйдет. Я понимаю, что хотел сказать художник: какая-то высшая темная сила знает все о человеческой жизни. Она видит и слышит все, что происходит на земле, и все записывает в книгу судьбы. Мне было довольно страшно проходить мимо: ведь он — я так и называла это существо «он», — наверное, следит за каждым моим движением, и даже мои мысли ему понятны — он запишет, а другие будут читать...

В самом темном углу кабинета — большой портрет Толстого на смертном одре. Страшно исхудавший, со всклоченной седой бородой, он лежит в ночной рубашке на кровати и смотрит прямо на дверь, через которуюходишь в кабинет. Его строгие, нечеловечески пронизательные глаза следят за мной, и я даже спиной чувствую их лихорадочный, какой-то безумный взгляд, когда поспешно прошмыгиваю в библиотеку.

Библиотеку замечаешь не сразу — ее отделяет от кабинета тяжелый темно-синий занавес. Откинув его, опускаешься на одну широкую ступеньку. Комната кажется небольшой от высоких, под самый потолок, застекленных шкафов с книгами, которыми заставлены все стены. Посередине стоит низкий круглый стол, заваленный газетами и журналами, вокруг стола глубокие кожаные кресла.

У меня было какое-то особенное чувство радости и благоговения каждый раз, как я входила в библиотеку. Папа научил нас чрезвычайно бережно относиться к книгам и, всегда снисходительный к нашим шалостям, приходил в настоящую ярость, когда мы пачкали или рвали книгу.

Благополучно миновав все Сциллы и Харибды папиного кабинета и скрывшись от взоров Льва Толстого за занавесом, я прямо устремляюсь к «нашим» полкам шкафа. Чего там только не было! Полное собрание сочинений Жюль Верна, чуть ли не в восемьдесят томов, Луи Буссенар, тоже чрезвычайно плодовитый писатель, конечно, Майн Рид, Фенимор Купер, Дюма. Были там красные с золотом издания «Золотой библиотеки» — прелестные и трогательные греческие мифы в этом издании были моей любимой книжкой. Лидия Чарская со своими падающими в обморок слезливыми институтками возбуждала острое презрение мальчишек, — чтобы не уронить себя в их глазах, я вслух тоже глумилась над героинями Чарской, но втайне любила несчастную и гордую княжну Джаваху и очень жалела бедную институтку Лиду, так страдавшую — за что? — от ненавистной мачехи.

Бессмертным произведением, навеки поразившим мое воображение, был, конечно, «Всадник без головы». Я до сих пор помню начало: «Конский топот разбудил в полночь техасского оленя. Животное подняло голову, насторожилось. Топот повторился — на этот раз копыта звучали по каменному грунту...» Мы с Тинем даже решили переписать всю книжку в тетрадь и действительно начали этот героический труд, но потом как-то отвлеклись и забыли.

А капитан Немо — таинственный, жестокий, но такой все же таки благородный человек! Почему он рыдал над роялем в этот одинокий ночной час, что за горе терзало его сердце?

А чудесные рассказы Сетона-Томпсона о зверях, которые своим благородством и мужеством так превосходили жестоких и корыстных людей! Горячие и, пожалуй, самые искренние слезы за всю свою жизнь я пролила, читая о могучем виннипэгском волке, умирающем от тоски в неволе, о бедном голубе Арно, который погиб от руки какого-то мерзавца в нескольких шагах от своего дома, куда он так стремился после долгого изгнания, о мустанг-иноходце, который предпочел смерть в пропасти постыдной неволе во власти коварного человека.

Я очень рано научилась читать, — кажется, при помощи детских кубиков с нарисованными на них буквами. Еще раньше, лет трех от роду, я говорила наизусть всякие детские стихи, и, когда приходили гости, меня заставляли демонстрировать им свое искусство. Я приходила с толстой книгой, раскрывала ее в нужном месте и начинала «читать», сильно шепелявя: «Жил-был кот бархатный живот, жили-были мышки серые пальтишки...» Я переворачивала страницу, когда это требовалось, и с важным видом «читала» дальше.

«Какая умная девочка! — восклицали наивные слушатели. — Такая маленькая, а уже умеет читать!» Папа подмигивал мне и хохотал.

С самого детства мы были окружены книгами, — в доме был настоящий культ книги. Все мы читали запоем, и мне кажется, что во времена своего детства я прочла бóльшую часть книг, прочитанных мною за всю жизнь. Тин и Саввка тоже читали очень много, в особенности Тин, — он единственный мог сравниться со мной в быстроте чтения: если мы вместе читали, то в одно и то же время переворачивали страницу. Ни с кем другим этого не получалось — я поспевала два раза прочитать страницу и уже начинала скучать, когда наконец мой медлительный партнер удохсуживался дочитать ее.

Тин был скромный на вид мальчик — худенький и довольно болезненный. Впоследствии он окреп, но так и остался

небольшого роста и худощавым. В то же время он был подвижным, шустрым и предприимчивым. О его наружности тетя Наташа выражалась, на мой взгляд, довольно невразумительно: «ни в мать, ни в отца, а в прохожего молодца». При чем тут какой-то молодец? — недоумевала я. Действительно, мы с Саввкой были смуглыми, черноглазыми и черноволосыми, похожими скорее на жителей островов Тихого океана, чем на детей чисто русских родителей, — Тин же был светлым шатеном с маленьким носиком пуговкой, с длинноватой верхней губой и тонкими, как нарисованными кисточкой, бровками, высоко поднимавшимися над зеленоватыми глазами. Очень у него были хороши ресницы — длинные, густые, с загнутыми концами.

Тин был большим плутом, инициатором всех наших проказ и очень ловко умел замечать следы. Все же он чаще других стоял в углу, и папа даже дал ему прозвище — «угловой житель» (были в ту пору бедные люди, которые снимали только угол в какой-нибудь густо населенной комнате). Достаточно часто и я, однако, попадала в угол, так как была неуклюжа и простодушна, в силу чего всегда попадалась на месте преступления.

Я была рослой, здоровой девочкой. Звали меня почему-то Лялькой, хотя крестили Верой, и еще Пучей — сокращение от пучеглазой. Когда мне было года три-четыре, мама наконец возмутилась и строго запретила всем звать меня Лялькой, — на обращение «Лялька» я не смела отвечать. Как сейчас помню — Саввка хотел позвать меня из соседней комнаты и уже сказал: «Ляль...» — но, видно, вспомнил, что нельзя, и замолчал. С замиранием сердца и я готовилась ответить на непривычное обращение «Верка», но он, видимо, сам сконфузился и не сказал ничего.

Саввка был поразительно красив — смуглый, черненький, с карими глазами. Незнакомые люди останавливались на улице, завидя его, и даже шли за ним, громко выражая свое восхищение. Избалован он был ужасно. Если кто-нибудь осмеливался перечить его желаниям и капризам, Саввка бросался на пол, предварительно сдернув с кровати одеяла и подушки, валялся, легая ногами и испуская дикие вопли. Прибегали няньки, гувернантки, толпились вокруг, приговаривали медовыми голосами: «Саввочка, Сапатосик, перестань плакать, скажи, что ты хочешь!» — а Саввочка только визжит и норовит лягнуть как можно сильнее.

Один раз Саввка пришел со страшным ревом к папе и пояснил: «Я Веку бю-бю, а она не пацет!» Он меня, видите ли, бил, а я из упрямства — потому что обыкновенно я была жуткой ревой — на этот раз плакать не захотела. От огорчения, что я не плачу,

когда ему этого хочется, Саввка сам пустился в рев и пришел жаловаться на меня папе. «А ты палкой не пробовал?» — спросил папа и к превеликому Саввкиному возмущению отшлепал его.

Он долго картавил, неправильно произносил слова и, будучи уже большим мальчиком, пил из соски. Так и ложился на скамью где-нибудь в парке и спокойно сосал из бутылочки к вящему изумлению прохожих.

При нем все расхваливали вслух его красоту и таланты, и ничего не было удивительного в том, что он так избаловался. Но он в самом деле был очень способным мальчиком, в особенности к рисованию. Ему было всего пять лет, когда он нарисовал голову лошади. Она была как живая — глаза блестели, ноздри раздувались, вот-вот заржет! Он мне всегда напоминал Остапа, старшего сына Тараса Бульбы, — никогда не врал, не обманывал, не изворачивался, был храбр до безрассудства.

У нас было еще два брата: Вадим и Даниил. Вадим был гораздо старше и жил где-то у родственников, приезжая на Черную речку только на летние и рождественские каникулы. Он был носатый, худой подросток с ужасно жесткими волосами, которые, как щетины, протыкали насквозь его берет и торчали наружу. Я знала, что наша мама приходится Вадиму мачехой, но не придавала этому никакого значения, просто не задумывалась над этим, но однажды я слышала, как он вбежал, рыдая, в комнату и, перед тем как хлопнуть со страшной силой дверью, закричал пронзительным голосом: «Мачеха!» Какое холодное, жестокое слово! Оно прокатилось эхом по всему дому, и я в первый раз подумала, что Вадим может быть несчастным, каким-то неполноценным, как будто бы у него не хватало руки или ноги. Потом я забыла об этом впечатлении, так как Вадим выглядел опять обыкновенно.

Мы относились к нему как к взрослому, уважали и слушались безоговорочно. Наверное, для того чтобы еще больше укрепить его авторитет у нас и дать Вадиму полезное занятие, мама предложила ему заниматься с нами русским языком и литературой.

Учителем Вадим был весьма суровым и требовательным. Его система заключалась в том, что он не обременял нас грамматикой, а заставлял много читать, рассказывать прочитанное и писать диктовки и сочинения. Мы писали и писали без конца. Много затруднений было у меня с буквой «ять». Ведь никаких правил, где полагалось писать эту букву, не было. Надо было просто запоминать. В некоторых случаях «ять» писалась и тогда, когда явственно слышалась буква «ё», и эти слова надо было знать наизусть: «звёзды, гнёзда, цвёл, приобрёл...» —

твердили мы до одурения. Вадим заставлял по многу раз переписывать слово, в котором была сделана ошибка. Слово «белый», в котором я упорно писала «е» вместо «ять», Вадим, разозлившись, заставил меня написать сто раз!.. Под конец я в отчаянии начала даже жульничать и вместо проклятого слова делала волнистую черту. Суровая система нашего учителя принесла тем не менее великолепные плоды. Мне не было еще и восьми лет, как я совершенно без ошибок писала по старой орфографии, и впоследствии мне стоило немалых трудов привыкнуть к новой. До сих пор имя «Вера» и слова: «хлеб», «снег», «еда», «звезда» — мне кажутся какими-то некрасивыми, пресными и маловыразительными без красивой и какой-то гордой буквы «ять».

Брата Даниила я не помню совсем. Один раз только худенький беленький мальчик сидел на камне около кухонного крыльца. «Это ваш брат Даня», — сказали нам. Даня воспитывался и всегда жил у родных своей матери, Александры Михайловны в Москве.

Лень и нерадивость наказывались одиночным заключением в пустой комнате. Была у нас такая на втором этаже — она вечно пустовала в ожидании приезжающих из Петрограда гостей. Мебели там никакой не было, только на полу лежал матрас, на который мы и ложились, запасшись предварительно какой-нибудь книгой. Лежишь, бывало, на животе и читаешь Буссенара. После нескольких часов чтения о необыкновенных приключениях парижского мальчика Фрикэ в африканских дебрях у меня начинало мутиться в голове — что бы предпринять? Встаю, подхожу к окну, смотрю вниз. Там кухонное крыльцо, собака дремлет на цепи и бродят скучающие куры. Мой взгляд блуждает по подоконнику — хорошо бы запустить чем-нибудь в кур! Ничего под рукой нет. Я ложусь грудью на подоконник и собираю побольше слюней во рту, терпеливо поджидая, пока какая-нибудь из беспечно гуляющих пернатых не приблизится на расстояние выстрела. Тогда, тщательно прицелившись, я плюю в курицу. Плевков летит, но на лету меняет направление, его относит в сторону — недострел! Какая досада! Опять ждешь, но куры отошли, теперь уже не попасть. Скучно!

Вдруг внизу хлопает дверь — выходит тетя Наташа. Куры поспешно бросаются к ней, второпях чуть не тыкаясь грудью в землю и бестолково взмахивая неуклюжими крыльями. Напрасный спех — тетя Наташа даже не посмотрела на них и идет себе по дорожке к погребу. Я злорадствую, а куры не могут скрыть своего разочарования — они уныло разбредаются по двору и рассеянно тянут скучным голосом «ко-ко-ко»...

Скорей бы обед, что ли. Но обед приносят и просовывают в дверь, как какому-нибудь арестанту. Опять читаешь, опять бродишь по комнате, рассматриваешь обои. Ох уж эти обои, до чего же знаком их узор из голубеньких цветочков, с убийственным однообразием повторяющийся через равные промежутки! До чего же изучен потолок с трещиной на нем в виде реки Нила, с его типичным изгибом и дельтой, — там даже пятно, — это Александрия? А тут стоят Хеопсовы пирамиды, а дальше «...вечно чуждый тени, моет желтый Нил раскаленные ступени царственных могил...».

Наверное, про меня забыли? Но вот шаги, гремит ключ — это наша милая, жалостливая тетя Наташа! Она улыбается таинственно и шепчет: «Иди на кухню, там что-то оставлено». Я лечу стремглав через гимнастическую комнату, или просто «гимнастику», через холл. По лестнице я не бегу, а съезжаю по перилам — широким и до блеска отполированным нашими животами. Промчавшись через огромную столовую, я влетаю на кухню — там на чисто выскобленном столе стоит аппетитная тарелка, рядом стакан с молоком. Начинаешь поедать восхитительные блинчики с вареньем, от избытка чувств и нахлынувшей энергии дрыгая ногами под столом, — куда приятнее, чем даже вкус блинчиков, это чудесное ощущение свободы!

Я любила наш громадный деревянный дом на Черной речке. Даже трудно называть это чувство любовью — ведь оно было неосознанным, но таким естественным и простым, как дыхание. Мне было хорошо в нем, так хорошо, как нигде в мире. Мне странно было слышать иногда от взрослых, что дом наш неуклюж и несуразен, что комнаты слишком велики и неудобны, — что они понимают?

Дом был построен молодым архитектором Андреем Андреевичем Олем, папиным другом и родственником, — Оль был женат на папиной сестре Римме. Папина фантазия задумала создать дом, похожий на старинный норвежский замок, — весь из толстых сосновых бревен, с башней, откуда открывался бы широкий вид на окрестности, на Финский залив, на Кронштадт.

Наверное, Дрюнечка, как папа ласково называл шурина, не слишком успешно справился со своей задачей, потому что потолок папиного кабинета обрушился еще во время постройки, и его пришлось укреплять поперечными балками, тяжелая черепичная крыша протекала, башня очень скоро покосилась, и ее крен увеличивался с каждым годом. Постройка обошлась очень дорого, и папа в шутку называл нашу дачу «Вилла Аванс», так как на нее пошли деньги, взятые авансом у издателя. Пятнадцать

комнат, огромные печи и камины поглощали неимоверное количество дров — дворник Никанор полдня таскал большие охапки и с грохотом сваливал их перед прожорливыми топками печей. Тем не менее многие комнаты оставались сырыми и холодными. Но так говорили взрослые!

Станный, конечно, был дом. Повсюду был замечен печальный, мятущийся дух его владельца, — на всем лежала его печать.

Широкая лестница на второй этаж образовывала площадку, на которой было всегда темно. И на самой темной стене висел огромный картон с нарисованным на нем «Некто в сером». Серые тяжелые складки его одеяния падали до самого пола, в руке он держал зажженную свечу. Ее желтый свет снизу резко освещает его каменное, равнодушное лицо. Страшные глаза, чуть сощурившись, неотступно глядят на пробегающие фигурки людей. Мне всегда казалось, что тени и световые блики на его лице слегка двигаются, отчего оно странно оживало, тяжелые веки приподнимались и взгляд загорался жестоким огнем. Чувствуя, что ноги деревенеют и коленки дрожат, я, не смея поднять глаз на «Некто в сером», поспешно пробежала мимо.

Наверху лестница выходила в большую переднюю-холл, где у широкого окна за перегородкой стояли пальмы, филодендроны и другие растения в кадках. С середины потолка свешивался красивый ажурный фонарь, — разноцветные его стекла бросали движущиеся пестрые тени на стены, на двери папиного и маминого кабинетов. Но что это? На стене виднеются какие-то следы — черные следы чьих-то здоровенных босых ног! Они начинались у самого пола, шли вверх по стене, поднимались на потолок, шли — о ужас! — по потолку и внезапно обрывались у покачивающегося фонаря.

Однажды папа с испуганным видом пришел к бабушке и зашептал ей: «Ты не слышала ночью шагов в прихожей и покашливания? Я прихожу, а там следы на потолке, — наверное, домовой?» Суеверная бабушка, быстро крестясь, шептала: «С нами крестная сила!» — а папа, страшно довольный, хохотал, так как не кто другой, как он сам, намалевал эти следы черной масляной краской. И хотя все это знали и я сама прекрасно видела застывшую каплю краски, стекавшую от одной из страшных черных пяток домового, тем не менее смотреть на следы было жутко — только подумать! — ходить по потолку вниз головой и не упасть!

Здесь же в холле небольшая дверь вела в коридорчик, откуда темная узкая лестница поднималась на чердак и на башню. Нам, детям, было строжайше запрещено ходить по этой лестнице. Но

мы редко ходили даже в коридорчик, потому что там тоже было страшно. Была там дверь в маленькую, совершенно темную комнатку, где часто запирались папа с мамой. Когда приоткрывалась дверь, то в жутком красном свете маячили их фантастические тени, что-то делавшие за столом, резко воняло какой-то химией и слышались то радостные, то огорченные возгласы. «Кто открыл дверь? — вдруг кричал папа. — Скорей закройте!» На двери была надпись: «Палата № 6».

Папа увлекался цветной фотографией, которая была редким достижением науки того времени. Он выписывал пленки откуда-то из-за границы, у него был большой фотографический аппарат на длинных ножках, который он приносил, как только видел что-нибудь примечательное. Он без конца снимал каждый уголок нашего дома и всех родных и знакомых. В период увлечения фотографией в доме только и слышно было разговоров, как о негативах, позитивах, фиксажах и проявителях. Говорилось об освещении удачном и неудачном, об игре света на носу какого-нибудь гостя, и частенько случалось, что папа срывался из-за стола, тащил аппарат, гостя усаживали на фоне какой-нибудь пальмы, и, сконфуженно улыбаясь, тот покорно поворачивался, куда ему приказывали, а папа щелкал аппаратом и восторженно кричал: «Ты только посмотри, Аня, какой эффектный свет! Вот это будет снимочек!»

Иногда папа не довольствовался обычным видом своих моделей и заставлял их надевать фантастические тюрбаны, какие-то греческие хитоны, в руки совал какую-нибудь палку в виде скипетра и ставил их в героические позы.

Фотографии делались на стекле, и надо их было рассматривать на свет в специальный стереоскоп, чтобы картина приобретала перспективу и глубину. Это было очень красиво: нежные, совершенно натуральные краски сообщали фотографии живость и природную естественность. Казалось, в открытое окно созерцаешь какой-то изумительно красивый вид, — иллюзия была так велика, что чувствовалось даже легкое прикосновение ветерка на щеках и запах цветов, так ярко цветущих на снимке.

Но постепенно увлечение фотографией проходило, и папа вдруг превращался в художника: на нем бархатная куртка с небрежно повязанным мягким галстуком, небольшая вандейковская борода, черные волосы львиной гривой падают на отложной воротник. Удивительнее всего, что папа преображался не только внешне, — подобно талантливому актеру, он настолько вживался в свою роль, что превращался в настоящего художника. Его интересовала только живопись, он мог говорить только о ней. Его кабинет был завален холстами, мольбертами, ящиками с

мелками, сангиной, углем. Как по волшебству, все в доме менялось — он наполнялся людьми, причастными к живописи, все как одержимые пробовали рисовать, — рисовал даже лакей Андрей, у которого папа обнаружил недюжинные способности. Всюду висели и на всех столах лежали репродукции творений великих мастеров, — папа преклонялся перед гением Микеланджело, его привлекали мрачные фантазии Гойи, он восхищался реалистическим мастерством Репина и Серова.

Мои детские годы все прошли среди книг, картин и музыки, которой занималась мама. Папа сам не музицировал, хотя очень любил музыку и его глубоко трогали студенческие и народные песни. Будучи в хорошем настроении, он всегда напевал какую-нибудь шутиливую песенку вроде «Девушка гуляла во своем саду — ду-ду...» или про тетюшку Аглаю. Слов этих песенок папа не произносил, а только мычал, причем мама всегда махала на него рукой, чтобы он замолчал. Хитро взглянув на маму, папа переходил на свист и свистел очень верно и мелодично. В то время только что появился граммофон, и папа сейчас же его купил. Он покупал массу пластинок, и я до сих пор помню эти концерты из русских и итальянских опер в исполнении Собинова, Шаляпина, Давыдова. Немудрено, что мы все всегда что-то пели, особенно цыганские и итальянские романсы, перевирая слова, но с большим увлечением, к величайшей потехе папы. Он научил Саввку свистеть, и когда хотел позвать его, то насвистывал первую строчку «Чижик, чижик, где ты был?», — а Саввка должен был отвечать тоже свистом: «На Фонтанке водку пил!»...

Простенькая мелодия «Собачьего вальса» наигрывалась всеми нами на рояле двумя пальцами, — она сохранилась в моей памяти как некий гимн нашего дома, так как папа часто насвистывал ее, а порой и мама садилась к роялю, и тогда наивная песенка превращалась в настоящую гремющую музыку, и мы все застывали, восторженно раскрыв рты.

Нет почти ни одного папиного рассказа, ни одной пьесы, где бы не упоминалась или не воспроизводилась какая-нибудь песня или музыкальное произведение. Одна из его пьес так и называется «Собачий вальс», а название другой, «Дни нашей жизни», заимствовано из студенческой песни того времени.

Удивительный язык, стиль папиных произведений тоже подчинены невидимой гармонии, ритму. В них ясно чувствуется размер, как в стихах, где сознательно подобраны слова, имеющие музыкальную слаженность и звучность: «...Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо...», или: «... Смотрите и слушайте, вы, пришедшие сюда для забавы и смеха. Сейчас перед вами пройдет вся жизнь человека, с ее темным

началом и темным концом. В ночи небытия вспыхнет светильник, зажженный неведомой рукой, — смотрите на пламень свечи! — это жизнь человека!»

К сожалению, в музыке папа не мог так проявить себя, как в литературном творчестве или в живописи. Музыка служила только фоном, дополнительным аккордом для полнейшей обрисовки душевного состояния его героев, в то время как живопись была проявлением его собственного душевного мира — в своих рисунках папа мог полностью выразить свои фантазии и мечты.

Возможно, что многим покажется странным, что на маленькую, едва восьмилетнюю девочку, какой была я в то время, папины порой болезненно тяжелые, тревожные образы, уродливые, замученные лица производили такое глубокое впечатление. Но, может быть, именно поэтому они и запоминались, они внушали страх и тревогу, а такие чувства не забываются.

В холле наверху висела картина, нарисованная папой разноцветными мелками. Это головы Иисуса Христа и Иуды Искарота. Они прижались друг к другу, один и тот же терновый венец соединяет их. Но как они непохожи!

И странная вещь: несмотря на то что сходства нет никакого, по мере того как всматриваешься в эти два лица, начинаешь замечать удивительное, кощунственное подобие между светлым ликом Христа и звериным лицом Иуды Искарота — величайшего предателя всех времен и народов. Одно и то же великое, безмерное страдание застыло на них. Постепенно начинает казаться, что губы Христа искривлены той же судорожной гримасой, что тот же скрытый ужас смерти проглядывает сквозь одухотворенную бледность его лица, таится под закрытыми веками глаз, прячется в фиолетовых тенях около рта. Кажется, что от обоих лиц веет одинаковой трагической обреченностью.

Картина болезненно действует на мое воображение и часто преследует меня во сне. Мне кажется, что распятые оживают, открывают страшные, опустошенные горем глаза и, обнявшись как братья, идут ко мне. Они рады бы отделиться друг от друга, но терновый венец связывает их неразрывно — так и кружатся в нелепой, безумной пляске, заламывая худые окровавленные руки.

...Но жизнь была прекрасна, а детское легкомыслие не позволяло долго задумываться над непонятными явлениями и особенностями нашего дома.

Мы росли порядочными дикарями, несмотря на то что наше воспитание было поручено боннам и гувернанткам. Возможно, что эти особы не могли полностью развить свои педагогические

дарования в обстановке нашего дома, так как обыкновенно они ненадолго в нем задерживались. Кажется, они не выдерживали главным образом сношений с Саввкой, который не переносил насилия над своей личностью и решительным образом восставал против их робких попыток научить его хорошим манерам.

Как-то раз одна из очередных жертв Саввкиного тиранства осмелилась во время обеда поставить перед ним зеркало: пусть-де мальчик посмотрит, как некрасиво ставить локти на стол, чавкать и швырять огрызки себе за спину, как это делал Генрих Восьмой на туманной заре человеческой цивилизации.

«Мгновенно гневом возгоря», Саввка схватил зеркало и запустил им прямо в злополучную гувернантку. Испустив жалобный крик, несчастная проявила недюжинное присутствие духа и увернулась от просвистевшего у нее над ухом снаряда. Эта увертливость несомненно спасла ей жизнь, так как зеркало врезалось в стену точно в том месте, где только что находилась ее голова. Гувернантка, шатаясь, выбежала из комнаты, истерически рыдая и крича: «Ни минуты больше не останусь в этом доме!»

Нас с Тином не так баловали, как Саввку. Мы оставались дома, в то время как он ездил с мамой и папой в шхеры на моторной яхте «Далекий»; он путешествовал по Италии, так что мы подолгу были лишены его общества. Это обстоятельство неумовимо отдаляло его от нас, мы от него отвыкали, а он присваивал себе право командовать нами, показывая свою опытность и «превосходство европейца над неотесанными дикарями». Иногда его влияние нельзя было назвать хорошим, — вдвоем с Тином мы бы никогда не додумались мучить животных.

Однажды, например, Саввка поймал курицу и трудолюбиво выщипал ей перья на шее якобы для того, чтобы она стала похожей на кондора. Не знаю, удалось ли ему добиться этого сходства, но лиловая шея несчастной курицы, покрытая гусиной кожей, производила на редкость отталкивающее впечатление. Не скажу, чтобы нам стало особенно весело, но мы угодливо хихикали.

Потом Саввка организовал травлю «газетчика» — скромного и невзрачного петуха неопределенно-белого цвета. Он никому не делал вреда, старался поскорее стусеваться при нашем появлении, но мы его замечали и сейчас же устраивали травлю. Как-то раз мы особенно долго преследовали «газетчика». Обессилившая птица забилась в кусты и лежала там неподвижно, а мы тыкали в нее палками. Моя палка упиралась в живое, вздрагивающее тело, и было что-то настолько дикое и безобразное в этой полной беспомощности приговорившегося к смерти животного, что нам троим, здоровым детям, вооруженным

крепкими палками, стало наконец стыдно. Не глядя друг на друга, мы потоптались, криво усмехнулись и побросали палки. С тех пор мы оставили петуха в покое, но ощущение этого податливого тела, в смертельном страхе вздрагивающего под моей палкой, и этой смеси любопытства, жестокости и жалости мне не забыть никогда.

Истязания животных прекратились совершенно, так как мы поняли основную истину, что плохо и стыдно обижать слабого, который не может защищаться. То чувство гадливости и отвращения к самим себе, какое охватило нас при травле несчастного «газетчика», и было тем голосом совести, который, раз пробудившись, уже никогда не оставляет человека.

Тем не менее мы продолжали вести свои наблюдения над животными и проверять сведения, полученные от чтения книг и разговоров взрослых. Вряд ли некоторые наши опыты могли быть названы бережным отношением к животным, но они были лишены элемента бессмысленной и нездоровой жестокости.

Так, однажды мы решили проверить способность кошки оставаться невредимой после падения с высоты, — об этом необыкновенном свойстве мы достаточно были наслышаны.

Мы поймали нашу кошку, по имени Елизавета Воробей, и, невзирая на ее сопротивление, втащили на чердак. Когда мы поднесли ее к окошку, она удесятерила свои усилия, стараясь вырваться, но железные руки Саввки, покрытые боевыми царапинами, удерживали ее над пропастью. «Мрачному предавшись пессимизму», как говорит Саша Черный, Елизавета издала последний утробный крик и полетела вниз... С жадным любопытством естествоиспытателей мы следили за полетом и увидели, что, еще не долетев до земли, кошка стала проворно перебирать ногами и, едва коснувшись почвы, вихрем шарахнулась в кусты, — падение ей действительно нисколько не повредило!

Столь же успешно прошел и второй опыт с Лизой Дворянское Гнездо — новое прозвище Елизаветы. На этот раз проверялось предполагаемое неумение кошек плавать. Мы затащили Лизу в море и торжественно опустили в воду. Ого, как здорово она умела плавать! Нырять меж волнами, Лиза проворно достигла берега и «черной молнии подобна» пронеслась по песку в прибрежные кусты. Мы долго выманивали ее оттуда, чтобы вручить приз, припасенный заранее, — лакомый кусок печенки. Наконец она вышла, и мы ужаснулись ее изменившемуся виду — невероятно тощая, с тонюсенькой шейкой... Оказывается, ее полнота была только кажущейся — это все была только пушистая шерсть.

Аналогичный опыт был проделан с петухом, но уже не

«газетчиком», а другим крупным и гордым представителем породы куриных. Он был словлен на заднем дворе, где важно и независимо прохаживался среди своих кур. На заднем дворе, под крышей сарая, стояла большая бочка, почти до краев наполненная дождевой водой, там плавали стоймя красные булабочки — это были такие червячки. Они передвигались странным образом — толчками, ломая пополам свое туловище.

Мы решили проверить, сможет ли петух, поставленный в условия водоплавающей птицы, употребить свои ноги для плавания, или же он сразу пойдет на дно. Перепуганные червяки бросились врассыпную, когда мы осторожно опустили петуха в непривычную стихию. Против ожидания, он и не подумал тонуть, — спокойно и с достоинством озираясь, он величественно поплыл вдоль стенок бочки. Восхищенные таким мастерством, мы дружно закричали «ура!».

Посещения заднего двора не особенно поощрялись взрослыми, но мы всегда находили предлог попасть туда, так как нас страшно привлекали конюшни, коровники и тот маленький хорошенький домик, где жили свиньи — гладкие, розовые, с двумя загадочными сосисками, висящими под подбородком, — порода, что ли, была такая? Загончик у них был перемешен ногами в непролазную грязь, но они бродили по ней с видимым удовольствием и даже валялись, блаженно хрюкая. Потом они теми же грязными ногами становились в корыто и ели свое месиво, так страшно чавкая, что мы сконфуженно отворачивались — вот уж настоящие свиньи!

В коровник мы не заходили вовсе, потому что громадные коровы внушали страх и уважение, — недаром мы выросли в Финляндии, где коров очень много и они бродят в полудиком состоянии во всех лесах и по всем дорогам. Няньки пугали нас ими, и только Саввка проявил раз необыкновенную храбрость — он гулял с мамой в саду и вдруг увидел страшную рогатую голову, выглядывавшую из-за забора. Вцепившись в мамину юбку, Саввка смело закричал корове: «Мука, ди, я за маму дезуся!»

На конюшне стояла добродушная кобыла Поляна с белой звездой на лбу со своим озорным сыном Хабьясом. Это было коварное животное, не поддававшееся никакой дрессировке со стороны Мики — кучера. Один раз Хабьяса запрягли в коляску, но он пронесся карьером, на крутом повороте у ворот потрянул коляску о камень, лежавший там, ликуя, порвал постромки и помчался в поле. Мика, однако, не выпустил вожжей и не то как-то ехал, не то бежал за лошадьёю через канавы, поля и заборы.

Этот Хабьяс так и не сделался окончательно ручным и однажды зимой вывернул сани, в которых мама с тетей Наташей

везли сотню мерзлых зайцев, прямо в канаву, заваленную снегом. Сани перевернулись и накрыли пассажиров, а Хабьяс умчался куда-то далеко по дороге.

Вскоре он скрылся за поворотом, а за ним скрылся и кучер Мика, напрасно взывавший свое «сатана, пергола...».

Когда, кряхтя и стеная, мама и тетя Наташа вылезли из-под саней, дорога была пуста, и им пришлось самим ставить сани на дорогу и разгребать сугробы в поисках зайцев. Многих тогда недосчитались, но это не было большой бедой, так как зайцы всем смертельно надоели. Они подавались каждый день к столу то жареные, то печеные, то под соусом, то в виде паштета... Ведь это уже были те времена, когда стало мало продуктов, и летом мы ели хлеб зеленого цвета, испеченный из небольшого количества муки и большого количества травы, — такая трава буйно растет под заборами и на помойках, она дурно пахнет, и листья у нее сочные и большие. Ее варили, пропускали через машинку и смешивали с мукой. Получался ярко-зеленый, прямо-таки изумрудный хлеб, который был изумительно вкусен, особенно с парным молоком. Отлично помню, как, за что-то наказанная, я была оставлена без обеда и посажена в пустую комнату. Рыдая, я сидела на матрасе, как вдруг отворилась дверь и сердобольная тетя Наташа просунула в щель кружку с молоком и большой кусок только что испеченного зеленого хлеба. Сейчас же горе было забыто, и я с наслаждением стала есть хрустящую горбушку, запивая вкусным финским молоком и от избытка чувств болтая в воздухе своими босыми, заскорузлыми ногами.

Это были уже те времена, когда папа — чтобы отвлечься немного от мучительных мыслей о войне, чтобы скоротать длинные пустые дни, когда почему-то перестали приезжать гости, чтобы не думать о нерадостных вестях, приносимых телеграммами, — придумал построить дорожку, которая вела бы по обрыву к берегу Черной реки.

Этот наш обрыв был самым интересным, диким и романтическим местом сада. Глубокая река крутой излучиной огибала обрыв, которым неожиданно заканчивался пологий спуск холма. Это был поразительный контраст, — куда вдруг исчезал наш культурный сад с его расчищенными дорожками, клумбами, с изящными группками молодых березок, с его пестрыми лужайками и серебристыми пихтами. Он исчезал, проваливался в дикий обрыв, где все перепутывалось в непроходимую чащу. Там в таинственной зеленой тени росли ландыши, там куковали кукушки, там цвела черемуха. Разве увидишь где-нибудь в Европе, во всех ее унылых, причесанных лесочках, простое русское дерево черемуху?

Вот она стоит на крутом спуске обрыва, спрятанная другими, более высокими деревьями, в непролазной гуще всяких кустов и травы. Ее сочные темные листья блестят от росы, а цветы — белые, пахучие — тяжелыми гроздьями свешиваются вниз, покрывают все дерево, наполняют воздух таким необыкновенным, единственным в мире ароматом. Потянешь за ветку, и пахучие капли росы падают на лицо, на шею, — они холодные в тени, тогда как верхушка дерева уже просохла, прогретая солнцем, и четко вырисовывается на синем небе, споря белизной с облаками, такими, каких тоже не увидишь в Европе.

Это был настоящий гончаровский обрыв, где, казалось, еще слышались таинственные выстрелы, шипящим эхом раскатывающиеся по крутому берегу Волги, то бишь Черной речки, это там стояла ветхая беседка, уничтоженная приказом бабушки Татьяны Марковны, только на нашем обрыве это была водокачка — хорошенький домик, где всегда шумели и тархтели какие-то машины.

По обрыву спускалась лестница, вырубленная в земле, со ступеньками, местами обвалившимися и заросшими травой. В густой тени деревьев она шла зигзагами прямо на берег зеркально тихой Черной речки, получившей свое название от темного цвета воды, — налитая в таз, она и там казалась коричневатой. У берега был глубокий, тихий заливчик, отделенный от берега небольшой отмелью, где при низкой воде выступал крошечный песчаный островок. В мелком проливчике между отмелью и берегом было место наших купаний, потому что там светло-коричневая вода прогревалась солнцем. Маленькие рыбешки мелькали около наших загорелых ног, которые как будто бы ломались и прогибались в солнечных лучах. В заливчике, где было очень глубоко, купались взрослые. Они сходили в воду по деревянной лесенке — верхние ее ступеньки были сухие и теплые, а нижние, холодные и скользкие, уходили куда-то глубоко в темную воду. Задумчивые жуки, как опытные фигуристы, скользили по гладкой воде, — под их ничтожной тяжестью она только слегка продавливалась, пружинила. Мерцая голубым огнем, стремительно появлялась стрекоза и присаживалась отдохнуть на длинный стебель камыша, — только, затаив дыхание, протянешь руку, как она срывается и исчезает, как видение, а стебель камыша еще долго покачивается в теплом неподвижном воздухе.

На берегу стояла купальня — уютный деревянный домик с крылечком. В купальне стояли скамейки, на которых виднелись подсыхающие следы мокрых тел, висели пестрые мохнатые полотенца и душно, жарко пахло смолой нагретых солнцем досок. Оттуда слышится говор и смех переодевающихся людей, гулко отдающиеся в маленьком помещении, — все веселы, все шутят. Их бывало много, этих веселых, молодых людей: барышни в белых платьях, — они кажутся мне все на одно лицо, но это совсем разные «тети» — тут папины и мамины сестры, их подруги, знакомые; франтовато одетые мужчины в белых фланелевых костюмах время от времени бросают палку в воду, для того чтобы наш красавец сенбернар Тюха принес ее обратно. Пес с готовностью бултыхался в воду, быстро и ловко доставал палку и гордо нес ее тому, кто бросил. С его густой шерсти стекали ручьи воды, — дойдя до людей, он останавливался и вдруг изо всех сил встряхивался, скрываясь в облаке радужных брызг... Что тут делалось! Барышни с визгом бросались врассыпную, стараясь спасти свои туалеты, а мы хохотали, так как, зная коварный нрав Тюхи, заранее предвкушали это зрелище.

В правую сторону от купальни начинались владения нашего соседа Плаксина, отгороженные жидким заборчиком. Наивно было думать, что такой забор может служить непреодолимым препятствием для нашей предприимчивости, — увы, во многих местах, скрытых от взрослых, но прекрасно известных нам, имелись вполне благоустроенные лазейки, через которые мы проникали в священные владения господина Плаксина и беспрепятственно обворовывали его богатые плантации малины и крыжовника. У нас в саду тоже росла всякая ягода, так что было непонятно, зачем нам нужна чужая, но нас привлекал риск самого предприятия: лезть через забор, красться к огороду — все это было очень интересно, а кроме того, как известно, запретный плод сладок, а мы были вдобавок уверены в своей безнаказанности. Если свирепый садовник Плаксина и зацапает нас, он все равно не посмеет жаловаться — папино имя служило надежной защитой от всех доносов. Злоупотребляя этим исключительным положением, мы однажды под предводительством Вадима, нашего наставника и учителя, трудолюбиво выбили из рогаток все разноцветные стеклышки в китайской беседке несчастного Плаксина.

С другой стороны купальни была построена дамба, по которой можно было пройти к пристани, плававшей на бочках на самом глубоком месте реки. Там стоял весь наш речной флот в виде больших и малых лодок, каких-то диковинных баркасов с пробковыми бортами, шлюпок и тузиков. Среди этого множества

выделялась большая моторная лодка, потом уродливый и неуклюжий баркас с надписью, выведенной белыми буквами, — «Хамойдол», нечто длинное и зеленое под неблагозвучным именем «Сопля» и крошечный тузик «Лягушонок».

Иногда к пристани пришвартовывалась яхта «Савва», которая с трудом пробиралась через мелководные места Черной речки, в то время как большая морская яхта «Далекий» принуждена была стоять у причала яхтклуба в Або. Это был настоящий корабль, блестящий коричнево-красным лаком и надраенными медными частями, пахнувший просмоленным канатом и далекими морскими просторами. На нем папа уходил на целые месяцы в море, в шхеры. Как бывалый морской волк — бритый и загорелый, в белом кителе и капитанской фуражке с белым верхом, — он возвращался из этих путешествий. Мама сопровождала его повсюду. Она умела разбираться в метеорологии, точно определяла погоду на завтра, силу и направление ветра и гребла не хуже любого балтийского матроса.

Она была матросом и коком — в маленьком камбузе «Далекого» мама готовила всякие вкусные вещи, вроде жареных грибов в сметане, которые так любил папа.

Они совершали удивительные поездки в шхеры — крошечные безлюдные островки Финского залива. Они высаживались в миниатюрных бухтах из серовато-розового гранита, отражавшегося в зеркальной поверхности бледно-голубого моря, они лазили по округлым скалам, купались в мелкой прозрачной воде, собирали грибы и ягоды на полянках среди берез и елей.

Довольно часто в такие плаванья брали Саввку, — он был старший и мог более сознательно относиться к окружающей красоте. Нечего и говорить, что он очень возгордился и, возвращаясь домой, совершенно подавлял нас с Тином своим авторитетом бывалого мореплавателя. Чтобы продемонстрировать мне свое умение управлять кораблем, он предложил мне раз покататься на лодке. Я была всего на год моложе его, а было мне в ту пору четыре года. Роста я была, однако, одинакового с Саввкой и значительно толще. Он быстро усыпил мои сомнения насчет того, что скажут папа и мама относительно нарушения строжайшего запрета ходить к реке, заявив авторитетно, что ведь никто не узнает. Дружно взявшись за руки, мы спустились к реке и по мосткам взошли на пристань. До сих пор мне было очень весело, но тут я взглянула на воду — черную и гладкую, подозрительно спокойную, — в перевернутом виде в ней отразилось мое собственное лицо с вытаращенными глазами. Мне стало страшно. А Саввка между тем уже влез в лодку, что-то там сделал с веслами и говорит: «Готово! Лезь,

Пуча!» Я попятилась. А он за руку схватил и тянет в лодку, а лодка-то понемножку отъезжает, и страшная, черная полоса воды все шире. Я упираюсь, а он тянет, и я все больше, все ниже наклоняюсь над водой... Потом раздался чей-то страшный крик, все заколыхалось перед глазами, стало темно и холодно.

Конец нашей авантюры опять весьма отчетливо запечатлелся у меня в памяти. Мы с Саввкой ревели дружным дуэтом — он тонко и со всхлипами, а я тяну мерным и мрачным басом. Мы взбираемся по лестнице от реки, вот последние высокие ступеньки, уже виден залитый солнцем сад. Сзади идет папа с хворостиной. Он равномерно в такт шагам подхлестывает нас и приговаривает: «Не ходи к реке! Не ходи к реке!»

Оказывается, садовник, работавший наверху обрыва, посмотрел случайно вниз и увидел нас в то мгновение, когда я падала в воду. Рискую сломать себе шею, он бросился по круче вниз и благополучно выудил меня из воды. Ну а папа откуда взялся — неизвестно.

Куда исчезло то беззаботное счастливое время? Когда совершилась эта перемена, сделавшая жизнь неустойчивой и странной? Понимали ли мы тревожный смысл телеграмм, которые приносили папе прямо на дорожку, постройкой которой он старался отвлечься от своих мыслей?

Незаметно сделалось так, что к папе все стали относиться как к больному. «Тише, дети, у папы болит голова! Не шумите, папа спит! Не ходите в кабинет, папа работает!» — только и слышно было в доме. Но я видела, что папа не работал, а ходил взад и вперед по своему огромному кабинету, и его неумолчные шаги слышались даже ночью. Он не болен, потому что к нему не зовут доктора и он не лежит в постели, а в то же время у него такой вид, как тогда, когда он зажигал спичку. По молчаливому уговору все стараются припрятать для него самую вкусную еду, которая, кстати сказать, становилась все более скромной. Эти наивные усилия были направлены на смягчение, улучшение его жизни, тяжесть и нелепость которой с каждым днем все больше наваливалась на него, страдальчески сдвигала брови, горела лихорадочным огнем в запавших глазах.

Постройка дорожки, возбуждение и рабочий азарт, споры о технических деталях, измерения натянутым шнуром, борьба с обрывом, с упрямыми корнями деревьев — все это был самообман. Так смертельно усталый пловец еще двигает руками и ногами, стараясь доказать себе, что у него хватит силы доплыть до берега, но его судорожные движения не могут никого обмануть, и гребцы, сгибая весла, уже мчатся ему на помощь. Но папе никто не мог помочь...

А мы, дети, с искренним увлечением возили взад и вперед наши маленькие тачки, сделанные папой, копали, нагружали, выгружали.

А на обрыве росла черемуха, ландыши прятались в его тенистых, одним нам известных уголках, и в нагретой траве душно пахло дикой гвоздикой, — ее тоненькие, липкие на суставчиках стебельки с лилово-красными звездочками цветов густо росли на склоне. На том же, обращенном к югу, покато́м склоне обрыва, среди поблекшей от солнца травы, росли скромные, неяркие цветочки — кошачьи лапки. Все так же мы плели из них венки, не подозревая о том, что скоро одному из этих венков суждено будет проехать по всем печальным дорогам Европы. Этот засохший венок из родных кошачьих лапок нашего сада будет окружать рамочку с наглухо закрытыми дверцами, а за дверцами на фотографии мертвая папина голова, тяжело вдавленная в подушку.

Безмятежно и беззаботно мы радовались жизни, не придавая никакого значения наступившим переменам, а подчас и вовсе не замечая их.

А перемены наступали незаметно и для более наблюдательного глаза, — с виду все было благополучно и даже счастливо. Не всегда папа выглядел таким мрачным и озабоченным, иногда он шутил и смеялся по-прежнему, как будто бы его вновь согрели какие-то надежды. Мы так любили папину улыбку, что инстинктивно старались сделать ему какое-нибудь удовольствие для того, чтобы он улыбнулся, мы старались заранее предугадать его желания и стремглав бежали исполнить их. Мы изучили до мелочей все его привычки, вкусы. Мы собирали полевые цветы, причем букет из папиных любимых маков, ромашек и колокольчиков ставился обязательно в кабинет, на письменный стол. Для остальных членов семьи тоже собирались букеты: мамин — ландыши и шиповник, бабушкин — дикая гвоздика и кашка, тети Наташин — ночная фиалка и те желтые, нежные цветы, которые растут на сырых тенистых лугах, — у них круглые головки и лепестки завернуты внутрь, как у маленьких брюссельских капусток. Возможно, что одаренные нами взрослые для того только, чтобы доставить нам удовольствие, так шумно выражали свой восторг, но мы принимали их эмоции за чистую монету и не жалели трудов, лазая по оврагам и бегая на отдаленные луга в поисках их любимых цветов.

Бегали обыкновенно мы с Тином, — так уж повелось, что Саввка такими мелочами жизни не занимался.

Папа очень любил класть себе в чай несколько ложек

земляники или малины. В саду у нас было вдоволь малины и были грядки с особой «ананасной» клубникой — ее желтовато-розовые ягоды в виде пузатых бутылочек были необыкновенно душисты, но папа предпочитал дикую малину и лесную землянику.

Мы с Тином вставали рано, когда солнце еще косо освещало дом и мокрая от росы трава холодила босые ноги, и, вооружившись кружками, проникали сквозь лазейку в сад Плаксина. Там был лужок, полого спускавшийся к реке. Если идти снизу и осторожно раздвигать траву, то тут и там можно было увидеть красные земляничины, скромно прячущиеся под листьями. Драгоценных ягод бывало, однако, очень мало, и нам в голову никогда не приходило положить какую-нибудь в рот. Осторожно, чтобы не помять, мы срывали их дрожащими от напряжения пальцами и клали в кружку, причем ягоды помельче и похуже клались вниз, а самые крупные и спелые составляли верхний слой. Мы рыскали в неприступных оврагах, обшаривали самые крутые склоны, обыскивали все известные нам места, где когда-либо посчастливилось найти несколько ягодок. Полные охотничьего азарта, мы забирались далеко от дома и, несчетное число раз примерившись, достаточно ли высоко поднялся уровень ягод в кружках, мы наконец решали бежать домой, чтобы не опоздать к чаю. Небольшая задержка у молоденькой липки — ягоды лучше всего выглядят на ее больших круглых листьях, и нужно их нарвать побольше, — мы, усталые, голодные, исцарапанные, но бесконечно счастливые, рысью устремлялись по знакомым тропинкам домой.

Для подбодрения духа и для быстроты срезались хлыстики, непременно из молодых побегов рябины или ивы, причем на конце обязательно оставлялся пучок мягких листочков. Пробираясь рысцой по заросшим подорожником тропинкам, мы легонько стегали себя по ногам этими хлыстиками, приговаривая в такт: «Мендель-рысью, мендель-рысью...» Что это заклинание должно было означать и откуда оно взялось, этого никто не знал, но оно значительно облегчало бег и придавало ему известный ритм и гармонию. Такой «мендель-рысью» мы могли пробежать много километров, а на лицах у нас в это время расплывались блаженные улыбки, вызванные ритмичной слаженностью движений.

Прискакав домой, мы шли в столовую, где огромный стол был уже накрыт к утреннему чаю. Торопливо, пока никто не вошел, мы раскладывали на скатерти наши липовые листья и распределяли землянику по точно установленному правилу: папе самая большая кучка тщательно отобранных спелых ягод, маме

кучка поменьше, бабушке еще меньше, другим домочадцам уже просто по нескольку ягод. Ведь, собственно говоря, вся земляника была папина, остальных мы только угощали, так сказать, от его имени. Себе, конечно, мы не оставляли ничего — как можно! — самим собирать, потратить столько трудов и вдруг съесть — даже совсем невкусно!

Когда все порции были как можно декоративнее разложены, мы с Тином отступали на шаг, чтобы еще раз окинуть взором всю картину, — как красиво выделялись красные ягоды в зелени листьев на белоснежной скатерти! Смешно сказать, но мы чуть ли не с благоговением смотрели, как папа набирает на ложечку землянику, опускает ее в стакан, раздавливает в чае и пьет. Он улыбается и подмигивает нам. Этот момент сторицей вознаграждает нас за труды. Да какие там труды!

Почти теми же благоговейными глазами на папу смотрела его мать, наша бабушка Анастасия Николаевна. Это была небольшого роста, еще не с седыми, а с темными волосами старушка, всегда очень аккуратная, подтянутая, гладко причесанная на прямой пробор. Она боготворила папу и предпочитала жить у него, а не у других своих детей, хотя шумная обстановка нашего дома должна была ей казаться малопонятной и чужой. В самом деле, несмотря на свой природный ум, бабушка была проста и полуграмотна, писала со страшными ошибками, верила в чертей и домовых, перевирала фамилии и слова иностранного происхождения и ничего не понимала в произведениях Гойи и Микеланджело. Но папа платил ей самой нежной сыновней любовью, старался пореже расставаться с нею, возил с собой в шхеры и в Италию. Безгранично уважая мать, он любил ласково подтрунивать над ее ошибками, почерком, суеверием, потешался над ее страхом перед ворами, злыми собаками и грозой. Он надавал ей массу смешных прозвищ, но сколько любви и нежности сквизило в них! Она была и «китайской курильницей», и «мошенником с Горбатого мосту», и «рыжим дьяволом», и просто «рыжиком», «рыжичком». Каждое прозвище имело свою историю, — так, «мошенником с Горбатого мосту» папа прозвал ее за одну успешно проведенную, но сомнительную торговую операцию. У бабушки в шкафу хранились с незапамятных времен высокие сапоги покойного дедушки. Они были совершенно новые, но никто не мог носить их, так как они были сшиты на одну ногу, — почему? Был ли сапожник выпивши, или сам дедушка был не в себе — история семейных преданий об этом умалчивает. Однажды в Москве, доведенная до отчаяния беспросветной нуждой, бабушка завернула сапоги в чистую тряпочку и понесла продавать на толкучку. Она очень ловко показывала покупателям всегда только один сапог, мерить давала

тоже только один, и наконец покупатель взял сапоги, получив в придачу и тряпочку, в которую бабушка их тщательно завернула. Всю дорогу домой бабушка бежала без оглядки — как бы не опомнился облапошенный человек!

У бабушки была небольшая темноватая комната. В углу перед иконой всегда теплилась лампадка, пахло сушеным смородиновым листом и валерьяновыми каплями. Мы часто забегали к бабушке, у нее так уютно горела лампа под зеленым абажуром, она сидела у стола и читала. Рядом стояла лакированная табакерка — бабушка раньше курила, отсюда прозвище «китайская курильница», потом курить бросила, но табак нюхала, и мы однажды засунули в табакерку здорового майского жука, за что нам здорово влетело от папы. Часто бабушка шила что-то на старенькой швейной машинке с обломанной фарфоровой ручкой, и для меня было большим удовольствием вставлять нитку в машинную иглолку или старательно вертеть ручкой под указания бабушки.

На стене висел большой портрет папы — очень серьезный маленький мальчик, чем-то похожий на Наполеона, важно сидел в плетеном креслице. Мне всегда как-то не верилось, что наш папа мог быть когда-то таким вот мальчиком вроде Саввки, которого, может быть, тоже шлепали и ставили в угол за шалости. Однако внимательный и печальный взгляд мальчика и суровая складочка между темными бровями убеждали, что это все ж таки папа.

На другой фотографии была изображена бабушка, окруженная всеми пятью детьми: папа, самый старший, дядя Павел, тетя Римма, дядя Всеволод и, наконец, маленький дядя Андрей. Еще там была тетя Зина, которой я и не знала, — она умерла еще до моего рождения.

Дядя Павел — щуплый, чернявый мужчина с бледным лицом и бородкой, носил пенсне со шнурочком, как у Чехова. Он был учителем рисования в какой-то гимназии, к нам, детям, относился свысока и жил в деревенском домике у самого устья Черной речки. С женой у него были какие-то сложные отношения, кажется, она разошлась с ним и вышла замуж за дядю Андрея. Во всяком случае, тетя Наташа, которая сама имела виды на дядю Андрея, обиженно поджимала губы, когда говорила о ней, а папа прозвал ее «братской могилой» — в шутку, конечно. В домике жили еще две девочки — одна была дочкой дяди Павла, другая дяди Андрея, — помню, я их бивала, так как была значительно сильнее и толще.

Чаще всего мы общались с детьми тети Риммы — мальчишками Люсей илевой и Левокой и девочкой Галей, одних лет со мной. Она была беленькая, худенькая и плаксивая. Отношения

были натянутыми, так как мы часто мерились ростом, я неизменно оказывалась выше и злорадно торжествовала, а Галя обиженно хныкала.

Дядя Всеволод был мужем тети Наташи. У них был мальчик Игорь — Горик, как его все называли. Это был хороший, умненький ребенок, и говорили, что папа любил его больше всех своих племянников. Он умер шести лет от роду от скарлатины. Тетя Наташа рассказывала, как он еще вечером с аппетитом кушал селедку, которую очень любил, а ночью у него сделался страшный жар, и через два дня умер бедный Горик. Его имя, казалось мне, происходило от слова горе, и действительно, большое горе было у нашей доброй тети Наташи. Она мало счастья видела в жизни. Дядя Всеволод вскоре после смерти сынишки заболел какой-то тяжелой болезнью, называвшейся сухоткой спинного мозга, и тоже умер. Говорили, что за несколько дней перед смертью он сошел с ума и все время кричал: «У Павла на террасе, у Павла на террасе!» С этим криком он и умер, и я часто ломала себе голову над неразрешимой загадкой — что же было у дяди Павла на террасе, почему бедный дядя Всеволод так и не договорил этой фразы? Наверное, что-то страшное было на этой террасе, так как кричал он настойчиво, отчаянно, даже под конец охрип и уже только шептал.

Характер у дяди Всеволода был, по-видимому, не особенно хорошим. Я сужу об этом по тому, что впоследствии, когда кому-нибудь из нас случалось проявить упрямство, злость или вздорность, тетя Наташа определяла эти свойства одним веским афоризмом: «Характер как у дяди Всеволода».

Дядя Андрей был единственным из братьев Андреевых призван в армию и участвовал в войне четырнадцатого года в чине прапорщика. Иногда он приезжал в отпуск и, странно выделяясь своей военной формой среди нашей глубоко штатской семьи, сидел за обеденным столом, громко и весело разговаривая. У него были волнистые светлые волосы, пушистая жидковатая бородка и стройная фигура. Он в три счета очаровал нас, и мы с восторгом рассматривали его Георгиевский крестик и, разинув рты, слушали фронтовые приключения. Папа тоже был весел и добродушно смеялся, глядя, как он отправляет в рот целые дольки чеснока, с хрустом их разжевывая.

Он здорово умел показывать фокусы, и мы ходили за ним по пятам, приставали и без конца канючили: дядя, покажи фокус!

Потом он опять уезжал, а тетя Наташа получала от него письма и о чем-то шепталась с бабушкой. В письмах он называл тетю Наташу «моя Кармен», потому что она очень мило пела: «Любовь не птичка не ручная...» Потом он перестал писать,

говорили, что он в плену, почему-то обязательно в Омске; прошло долгое время, и наконец все чаще стала слышна повторяемая взрослыми фраза: пропал без вести. Он так и не вернулся.

Тетя Наташа совсем переехала к нам. Папа очень любил ее за добрый веселый нрав, за любовное отношение к бабушке, за заботу о нас, детях. Он взял с нее слово, если он умрет, никогда не оставлять нас. Тетя Наташа обещала ему это и посвятила все свои силы неблагодарному труду — нашему воспитанию. Она заботилась о том, чтобы мы были накормлены, одеты, обуты и причесаны. При проявлении лени, непослушания или других пороков она прибегала к моральному воздействию плетки или какого-нибудь другого хлещущего предмета, первым очутившимся под рукой. Роковым образом таким предметом чаще всего оказывался зонтик, сокрушительным ударом обрушивавшийся на спину провинившегося. К несчастью, конструкция зонтиков не была, видимо, рассчитана на такие перегрузки, и зонтик при первом же соприкосновении с мускулистым телом преступника с легким треском разламывался пополам. Горестно вздыхая, тетя Наташа отдавала зонтик в починку, давая себе зарок впредь не употреблять его как орудие наказания. Увы, она слишком скоро забывала об этом обещании, и, когда Тин, что-нибудь натворив, нарочно в провокационной близости прошмыгивал мимо нее, зонтик взвивался в воздух и, конечно, быстренько приобретал тот же плачевный вид, что и до починки, к превеликой радости ехидного Тина.

Я очень любила слушать рассказы тети Наташи о ее детстве и о знакомстве с семейством Андреевых. Она родилась в какой-то бедной деревушке Московской области, мать у нее давно умерла, а отец отдал девочку на воспитание в семью обрусевшего немца, который жил на окраине Москвы, недалеко от Воробьевых гор. Это было чинное семейство, которое в общем хорошо относилось к Наташе и не обижало ее. Наравне с четырьмя дочерьми немца она занималась домашним хозяйством, вышиванием и пением благочестивых псалмов. Спали все девицы в одной комнате, окна которой выходили в большой запущенный сад, — там росли высокие старые деревья, а по ночам светила луна и пели соловьи. По воскресеньям все девицы надевали одинаковые белые платья и чинно шествовали впереди родителей на прогулку по Воробьевым горам. Толстый папаша-немец, благодушно настроенный после сытного обеда, кивал знакомым, а мамаша делала замечания дочерям, если они не так скромно, как ей казалось, посматривали на проходивших молодых людей.

Вот шествуют они однажды по дорожке, а из-за поворота вдруг выходит целая компания веселых и слегка подвыпивших

студентов. Впереди залихватская фигура в красной рубаше с расстегнутым воротом, в фуражке, заломленной на сторону. Опустив глаза, девушки гуськом поспешили пройти мимо веселой компании, не преминувшей отпустить им вслед несколько оценивающих замечаний. Студент в красной рубаше немного замешкался, глядя им вслед, а когда повернулся, чтобы идти дальше, то чуть не столкнулся с толстяком немцем, который смерил его уничтожающим, полным презрения взглядом. Парень остановился, уперся в бока руками, посмотрел этак лихо и сказал, покачивая головой: «А как мне твоя рожа не нравится!» Багровый от возмущения толстяк поспешно удалился, провожаемый взрывами смеха нечестивой молодежи. Впоследствии стало известно, что нахальный парень в красной рубаше и есть тот самый отъявленный повеса и сорвиголова Ленка Андреев, первый на все Воробьевы горы зачинщик всех веселых предприятий студентов.

Вскоре после этого прискорбного происшествия тетя Наташа, вопреки строгому запрещению, сидела одна часов в одиннадцать вечера на скамеечке у ворот сада. Привлеченная красотой ночи, она предприняла рискованное путешествие из окна своей комнаты по заблаговременно приставленной к нему лестнице. Немецкие девицы под своими добротными перинами сладко спали, а в постели Наташи лежала искусно сделанная из одеяла кукла, долженствовавшая обмануть бдительность старой немки, которая имела скверную привычку проверять, все ли девушки благонаравно спят.

Вот сидит Наташа на скамеечке, а луна светит, и соловьи так и заливаются. И видит она — какой-то молодой человек прошел мимо да так пристально в нее всматривается. Прошел, остановился, опять назад пошел и все на Наташу поглядывает. Так походил, походил взад-вперед, наконец осмелел и присел на другой конец скамейки. Завязался разговор. Сначала они обменялись довольно отрывочными замечаниями насчет соловьев, луны и прочих красот природы, потом беседа оживилась и перешла на более личные темы. Расстались молодые люди под утро, когда короткая летняя ночь уже начинала светлеть перед рассветом и лопухи, в которых лежала спрятанная лестница, щедро обрызгали росой Наташины руки, когда она, продрогшая и счастливая, вытаскивала ее, чтобы приставить к окну.

При этом первом свидании было выяснено, что молодого человека зовут Всеволод Андреев, что он младший брат того повесы, который так ужасно оскорбил почтенного немецкого семьянина, но что это вовсе не повеса, а хороший любящий сын и

брат. Дальше было рассказано, что старший брат после смерти отца является главою в доме, что живут они очень скромно, чуть ли не бедно, и что он, Всеволод, служит маленьким чиновником с месячным окладом в двадцать рублей. Все это не помешало романтически настроенной семнадцатилетней девушке влюбиться в молодого человека, причем большую роль в этом деле сыграли луна и соловей, так самозабвенно распевавший в эту прекрасную летнюю ночь.

Надо ли говорить, что свидания продолжались до тех пор, пока не случилось то, что неминуемо должно было случиться, — старой немке понадобилось что-то в комнате у девушек. Не найдя того, что искала, немка спросила Наташу, — чучело на кровати, естественно, не отвечало. Подойдя ближе и тронув за плечо воображаемую девушку, почтенная мать семейства так страшно взвизгнула, что ее услышала даже влюбленная парочка у ворот. Почуя неладное, Наташа поспешила к лестнице, уже начала приставлять ее к окну и... чуть не заехала ею в ухо неосторожно высунувшейся немке, которая как раз в этот момент догадалась, каким путем скрылась беглянка. Выбежав из дому и схватив Наташу за руку, мамаша довольно бесцеремонно потащила ее к воротам, предположив, что именно там нужно искать Наташиного партнера. В лице презренного соблазнителя она тут же узнала... кого же? Брата того самого повесы, который, как мы уже знаем, так неслыханно оскорбил главу семейства! Перед заплаканной Наташей была в ярких красках представлена вся глубина ее падения и та черная неблагодарность, которой она отплатила своим благодетелям. Была поставлена ребром жесткая альтернатива — или мы, или Андреев! Наташа выбрала Андреева, и ей пришлось уйти из дома и пуститься по тернистому пути самостоятельной жизни. Бедный Всеволод тоже вовсе не был готов к столь стремительной развязке. Ведь он жил дома, был еще очень молод, мало зарабатывал и не без оснований опасался, что старший брат не слишком ласково отнесется к его знакомству.

Он нанял крохотную комнатнушку и поселил там Наташу, а сам как ни в чем не бывало продолжал жить дома, время от времени «ночуя у приятеля», как он говорил брату. Все шло прекрасно, если не считать тоскливой и полуголодной жизни Наташи, которая только вечером рисковала выходить на улицу. Но однажды папа встретил того самого приятеля, у которого так часто «ночевал» Всеволод. Первый вопрос, который этот человек задал папе, был: почему Всеволод к нему совсем не заходит? Заболел, что ли? Придя домой, папа призвал братца и потребовал отчета. Когда припертый к стене Всеволод рассказал брату историю своего романа, тот воскликнул: «Бедная девушка! Как же

ты живешь с нею, не обвенчавшись?! Немедленно приведешь ее к матери — и будет свадьба!» Дрожащая Наташа с трепетом переступила порог дома своего жениха, но Анастасия Николаевна и папа обласкали ее, успокоили, и вскоре была сыграна скромная свадьба.

У тети Наташи в стеклянном ящичке вместе с волосиками маленького Горика, письмами дяди Андрея и другими реликвиями хранилась фотография — хорошенькая, тоненькая девушка с ласковым и робким взглядом черных глаз стояла в летнем платье у заборчика. Как мало она походила на ту тетю Наташу, которую я знала так хорошо, чью каждую морщинку я изучила, чьи буколки на височках, толстоватый нос, прекрасные белые зубы мне были так знакомы и дороги... Но это была она!

Как скромный и верный дух, тетя Наташа следовала за беспокойным нашим семейством, любила нас, как собственных детей, просиживала бессонные ночи у наших кроваток, когда мы болели, подкладывала в тарелку вкусные кусочки, жалела и утешала, когда приходили мы с разбитым коленом, гордилась нашими успехами и ругала за скверные отметки.

Родственники приходили и вновь исчезали, ненадолго задерживаясь в нашем доме. Между ними и мамой чувствовались натянутость, недоброжелательство. Может быть, им хотелось, чтобы мама уделяла им больше внимания, привязанности, входила бы в их узенький мирок семейных отношений, участвовала бы в их радостях и горестях. Но мама была слишком далека от их интересов, слишком занята папой, так как вся ее трудная жизнь была одно служение ему — преданное, напряженное, болезненно-страстное. Ей не только не хватало времени на поддержание отношений с родственниками, но даже собственные дети мало видели ее — вечно занятую, озабоченную, строгую. Мама старалась быть ласковой, порой, как бы пробуждаясь, вдруг начинала интересоваться нами, брала на руки, расспрашивала. И невольно мы разочаровывали ее, казались слишком заурядными, диковатыми, мало ласковыми. Мне, например, было неловко с мамой, я боялась показаться ей глупой, я чувствовала, что маме хочется, чтобы я была красивая, какая-то необыкновенно одаренная, и сознание собственной ничтожности придавливало, заставляло умолкать, смотреть волчком. Я ловила на себе мамин холодный, испытующий взгляд, и мне делалось так неловко, тяжело. Помню, один раз кто-то, наверное, сказал маме, что она слишком много времени уделяет Саввке, что это несправедливо, и вот тетя Наташа с торопливым и таинственным видом вдруг стала одевать меня и прихорашивать. «Поедешь с мамой на лодке, — шепнула она, — смотри, ве-ди себя

хорошо, старайся маме понравиться!» Наверное, не следовало ей так говорить, потому что я сразу съежилась внутренне, испугалась. И вот уже уводят меня, подводят к маме, она смотрит на меня... Я с тоской думаю — предстоит длинное путешествие с глазу на глаз с мамой, как я выдержу это испытание? И вдруг ошеломляющая весть — лодка неисправна, мы никуда не поедem, я могу идти восвояси. Я до сих пор помню то чувство радостного облегчения, которое я испытала тогда. По-видимому, от меня требовали чего-то, что было выше моих сил, я не умела притворяться, не умела подольститься, как это требовали неразумные взрослые, и это угнетало меня. Не хватало простого, ясного отношения, но кто был в этом виноват, судить не берусь. Встречая с моей стороны настороженность и неловкость, мама делалась еще холоднее и строже и уходила из детской. Мне кажется, что таковы были и ее отношения с родственниками: мама не умела притворяться, не умела скрыть своего разочарования, а потом просто забывала про них. Это истолковывалось как эгоизм, гордость, злоба. А маме было просто неинтересно с ними, и она не умела этого скрыть. Маму трудно было представить беспечно щебечущей о каких-нибудь тряпках, о том, идет ли Симочке голубое платье или ей лучше сшить розовое. Она вовсе не интересовалась, кто за кем ухаживает, что сказала такая-то за обедом и что такой-то ей отвечал. Очень образованная, всесторонне эрудированная, мама находила себе собеседников среди писателей и художников, бывавших у нас, и всегда находила больше удовольствия в разговоре с мужчинами, чем в праздной болтовне женщин.

Когда потом я читала «Анну Каренину», то мне всегда казалось разительным мамино сходство с нею, — ведь Каренина тоже мало походила на светских кумушек, она тоже любила разговаривать с серьезными, умными людьми, интересовалась искусством и литературой, и не только интересовалась, но изучала, штудировала научный материал. Она во всем старалась не отстать от увлечений Вронского, знать обо всем даже больше, чем он, чтобы где нужно помочь советом или знанием. Так же и мама следовала за всеми увлечениями папы, изучала живопись и историю искусства, знала и увлекалась наравне с ним цветной фотографией, мореплаванием, не говоря уже о литературе, которую она знала и ценила лучше, чем какое-либо другое искусство.

У мамы был настоящий, мужского склада ум и недюжинные способности, и ничто ей не было так чуждо, как мещанство. Кроме того, мама серьезно занималась музыкой, и сколько раз я застывала под окном ее кабинета, притягиваемая неведомой

красотой ее игры. Конечно, я совершенно не разбиралась в произведениях Бетховена или Шопена, но меня неизъяснимо трогала мамина игра, что-то такое сладкое, щемящее поднималось в груди, сдавливало горло, выжимало из глаз непрошенные слезы. Я так твердо была уверена в своей глупости и заурядности, что стыдилась проявления этих чувств и ни за что на свете не поделилась бы ими с кем-нибудь из братьев, не говоря уже о самой маме. «Куда уж мне, — думала я, — ведь я ничего не понимаю!..»

Немудрено, что простая, полуграмотная бабушка тоже чуждалась нашей мамы. Говорили, что она гораздо больше была привязана к Александре Михайловне, папиной первой жене. И с тетей Наташей она была ласковее и вела с ней долгие душевные разговоры в своей комнатке под лестницей. Бабушку, видимо, пугала шумная жизнь нашего громадного дома, бесконечные, с труднопроизносимыми именами гости, телефонные звонки, телеграммы, множество горничных, лакеев, гувернанток. Ей трудно было включиться в этот чуждый ей мир, и только папа был ей всегда близок: сама малообразованная, она каким-то чутьем понимала сложный мир папиной мятежной души и любила его бесхитростной, глубокой и простой — материнской — любовью.

На наши разбойничьи выходки бабушка смотрела с ужасом. Сколько раз, выйдя из своей комнаты, она застигала нас самозабвенно прыгающими по дивану в столовой. В наше оправдание следует сказать, что диван этот был неотразимо привлекателен своей необыкновенной длиной и доброкачественностью пружин. Он был расположен под углом, на возвышении в одну ступеньку над полом столовой и занимал половину длины этой огромной комнаты. Чтобы представить себе его чудовищные размеры, достаточно сказать, что он простирался под шестью большими зеркальными окнами. К тому же диван обладал великолепной спинкой, тоже обтянутой зеленым сукном и снабженной пружинами. Стоило только слегка подпрыгнуть, как пружины сразу приходили в действие и подкидывали высоко в воздух, а если постараться, то можно было успеть перевернуться, сделать сальто-мортале и прочие головокрумные цирковые номера. Бабушка совершенно не ценила наших успехов на этом поприще и сразу начинала кричать: «Разбойники, отец ваш горбом своим заработал, а вы уничтожаете!»

Мы, хихикая, слезали проворно с дивана и удирали, так как боялись не столько бабушки, сколько возможного появления папы. Хихикали же потому, что было странно, как это папа своим горбом зарабатывает диван, — никакого горба у папы, конечно,

не было.

Бабушка страшно перевирала иностранные слова и фамилии знакомых, гостей и политических деятелей. Для папы не было большего удовольствия, как услышать какое-нибудь новое ее словечко, он хохотал до слез, добродушно, весело. Так, раз бабушка, очень взволнованная, вбежала в папин кабинет и провозгласила: «Ленушка, иди скорее, там карета подкатила, а на запятках ливерный лакей стоит!» Другой раз это была «фаршированная телеграмма», а когда папа собрался ехать в Петроград на скачки, то бабушка озабоченно говорила ему, чтобы он не вздумал играть на пульверизаторе.

Бабушка очень боялась воров и перед сном обязательно заглядывала под кровать, под диван и за портьеры. Каков же был ее испуг, когда, войдя как-то вечером к себе в комнату, она увидела под кроватью чьи-то ноги в огромных, заскорузлых сапогах, — ясно, что там притаился вор... Отчаянный крик, всеобщее смятение, а тут уже появляется ухмыляющийся папа и, страшно довольный, объясняет, что это он стащил у нашего дворника сапоги и положил под постель, придав им весьма естественное положение ног лежащего человека.

Другой раз папа придумал еще более сложный фокус — привязал к бабушкиному носовому платку нитку и вывел ее за дверь. Когда бабушка протянула руку к платку, невинно лежавшему на столе, он вдруг подпрыгнул и отодвинулся. Решив, что это ей показалось, бабушка снова протянула руку, но платок прыгнул от нее на пол и пополз к двери... Опять крик, суматоха, и опять появляется с наивно удивленным видом папа — это, конечно, он дергал за нитку из-за двери.

Все эти добродушные шутки и проказы отрадно действовали на тяжелую атмосферу нашего дома, где все время чувствовалось биение какой-то трудной, трагической жизни. Они рассеивали мрак тяжелых туч, все более заволакивавших безмятежную синеву нашего детского неба, заставляли забывать о грозе, собиравшейся где-то на горизонте, и рождали смутную надежду: может быть, все-таки гроза пройдет мимо? Но она не уходила, только притаилась далеко, и тихие вспышки далеких молний все время напоминали о ее грозной, жестокой силе.

В глубине сада стоял флигель — маленький домик, построенный для гостей, — ведь люди приезжали из Петрограда, обязательно оставались ночевать, а многие жили по целым неделям и месяцам. Как-то незаметно гостей становилось все меньше, и флигель пустовал. Летом папа перебрался туда и работал на застекленной веранде — там у него стоял верстак, лежали пилы и рубанки, валялись груды стружек и очень хорошо

пахло смолистым деревом и веселым, жизнерадостным трудом. Папа очень увлекся столярничеством и прекрасно мастерил столы, этажерки и всякие тележки и тачки для нас. У каждого из нас была своя маленькая тачка — милая такая, уютная, с гладко выстроганными ручками. С ней мы увлеченно гоняли по длинным доскам, проложенным через большое поле к флигелю, — нужно было промчаться по этим доскам и ни разу не съехать на землю. Еще у нас были высоченные ходули, тоже сделанные папой, и мы хорошо научились ходить на них и даже бегать и драться, пытаясь скинуть друг друга. Кто оставался на ходулях, тот объявлялся победителем состязания.

Но все чаще папа страдал тяжелыми головными болями, бессонницей, и все чаще он уходил во флигель, чтобы там, в тишине, немного отдохнуть. Закрывались ставни, опускались шторы, и мы не понимали, зачем это папа спит, когда кругом так ярко светит солнце и поют птицы.

В саду зеленела пышная трава, молоденькие березки раскидывали в спокойном воздухе свои стройные, легкие ветки, а в углу сада старая могучая береза бросала свою большую тень на дорогу к дому. По этой дороге, бывало, катились коляски и кареты, подвозившие гостей, а теперь она зарастала травой. И чувствовалось, что ни к чему была ликующая красота огромного сада, что зря все долгое лето цвел шиповник, высаженный вдоль дороги от ворот к парадному крыльцу дома, что совершенно напрасно выстроена дорожка через обрыв, — ведь по ней некому было ходить. И уже заметно было, что дичает просторный сад, что сорной травой зарастают дорожки, что кусты малины и смородины разрослись в какую-то непролазную и некрасивую в своей заброшенности чащу. Уже давно испортилась водокачка, подававшая воду из Черной речки, и ушел механик, обслуживавший ее. Протекавшую крышу никто не починял, и на башню нам уже запрещали ходить, так как она еще больше покосилась. Исчезла прислуга, которую за длинное бледное лицо и бестолковость папа прозвал Зеленой Лошадью, ушел и лакей Андрей, которого папа, заметив в нем искру способности к рисованию, всячески поощрял и потом с гордостью показывал его картины гостям. На заднем дворе уже не было породистых свиней, загоны их поросли лопухами и крапивой, и не бродили две неразлучные овечки, окрещенные папой Исааком и Ревеккой. А ведь как недавно было то время, когда эта самая Ревекка, привязанная веревкой к колышку и тупоумно замотавшись вокруг него, истошно редела под бабушкиным окном, а я думала — какое удачное имя придумал ей папа, в самом деле, здорово ревет!

Почему все так изменилось? Мне казалось, что и взрослые не

смогли бы ответить на этот вопрос, — ведь даже папа молчит. Он молчит и иногда выходит на башню и подолгу смотрит в ту сторону, где Кронштадт и где, влево от него, в дымчатом мареве далекого горизонта виднеется Толбухин маяк, ограждающий подступы к Петрограду. Папа как будто ждет чего-то оттуда: может быть, ответа все на тот же вопрос?

Почему мы больше не ездим в Петроград? Я гораздо больше любила жить на Черной речке — нельзя и сравнить! — но в Петрограде тоже бывало интересно, и папа всегда приезжал оттуда веселый, шумный, много рассказывал и смеялся. Ему, наверное, хочется туда поехать, но почему же тогда он не едет, а только смотрит туда в свой морской бинокль? Делается тоскливо от этих назойливых вопросов, на которые некому ответить. Да они и не выражены никаким конкретным способом, а просто где-то висят в воздухе, мерцают, как таинственные и бесшумные зарницы далекой грозы.

Я начинаю вспоминать Петроград, нашу квартиру на углу Мойки и Марсова поля. Когда еще в подъезде сходишь с лифта — тоже очень интересная машина! — и на тебя пахнет из открытой двери, то первым делом поражаешься, как особенно пахнет в Петрограде — немного морем, какой-то морской сыростью и туманом, немного арбузом и талым снегом... Стоишь, нюхаешь, а потом взвизгнешь от радости и помчишься по тротуару. «Куда, куда понеслась? — кричит тетя Наташа. — Еще под извозчика попадешь!» Она хватает меня за руку, но я и сама опомнилась — как я забыла, что на мне новенькое каракулевое пальтишко, а на груди, что самое главное, пришит красный бантик. У Саввки такое же пальто и такой же бантик, мы беремся за руки и важно прохаживаемся по тротуару, все время скашивая глаза на бантик. Видят ли прохожие? Мы еще больше выпячиваем грудь. Две старушки проходят мимо, и одна говорит: «Посмотри, какие маленькие — и уже тоже с красными бантами!»

Мне до сих пор приятно, как мило сказала это старушка и как они улыбнулись нам. Погруженная в воспоминания о Петрограде, я бреду по большой рябиновой аллее и шаркаю ногами — они у меня босые, и прохладная трава очень приятно скользит между пальцами. Вдруг, по какой-то ассоциации, я вспоминаю другие ноги — огромные, в высоких, тяжелых, прямо-таки чугунных сапогах. Их очень много, этих сапог, и они враз все поднимаются и все враз с грохотом ударяются об землю, в такт тягучей, страшно медленной музыке. А мы с Саввкой стоим за какой-то узорчатой оградой, вцепившись в нее стынувшими от холода пальцами, и во все глаза смотрим на солдат — это их сапоги грохочут по мостовой. У них серые длинные шинели и лица тоже

серые, печальные такие. Музыка снова начинает звучать у меня в ушах, от нее даже мурашки побежали по спине и в глазах зашипало: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» Разделенная на куски грохотом сапог, мелодия тяжело падает куда-то вглубь, оседает там гранитными глыбами. Саввка поворачивает ко мне свое бледное лицо. «Бедные солдаты, — шепчет он, — они хоронят своих товарищей».

И опять музыка — совсем другая, стремительная, зовущая куда-то. Я лежу на животе под диваном в папином кабинете на Мойке. Я реву. За роялем сидит мама — она играет, а высокий человек, блестя глазами, поет. Из его открытого рта вырываются звуки такие могучие, полные такого торжества и вдохновения, что стекла в окнах чуть подрагивают и какие-то волны колышутся в тесном воздухе комнаты, как будто им неловко там, — они рвутся наружу, поднимают и мое маленькое скорченное тело и несут куда-то. Ощущение полета страшно и нестерпимо прекрасно. Не умея выразить иначе своих чувств, я реву, размазывая по лицу слезы вместе с пылью. Когда наступает тишина, мой рев достигает ушей взрослых, меня извлекают из-под дивана и долго потешаются над моей замурзанной физиономией. Большой человек держит меня на руках — у него смешной хохолок и веселые глаза. Он спрашивает: «И зачем же ты реवेशь? И зачем же ты такая грязная?» Я уже успокоилась, никакого полета нет, все стоит на своих местах. Я шмыгаю носом и бормочу со вздохом: «Потому что это так красиво...» Глаза человека делаются серьезными, он внимательно смотрит на меня, потом подбрасывает высоко в воздух, ловит и кричит: «Эх ты, чучело африканское!»

Потом я узнаю, что эту песню зовут «Марсельезой» и что пел ее у нас Шалапин. Я узнаю эту песню еще раз уже из окна какого-то дома, кажется, дедушки Ильи Николаевича на Миллионной. Я мельком смотрю вниз — в следующий момент кто-то оттаскивает меня от окна — и вижу, что вся улица запружена чем-то розовым, что, как река, вышедшая из берегов, заливает мостовую и тротуары и медленно движется вперед. Над розовой массой реет местами что-то красное, а далеко впереди этого красного еще больше, и над всем этим плывут могучие звуки «Марсельезы». Только потом я соображаю, что розовая масса — это обращенные вверх лица огромной толпы, и мне становится жутко и весело: подумать только — столько людей!

Потом почему-то открылись в доме напротив два окошка на чердаке, оттуда высунулось по человеку с ружьем. Дула ружей склонились вниз, и мы услышали выстрелы, причем одна пуля каким-то образом разбила наше окно и с визгом впилась в стену.

Мы были уже повалены на пол под окном и, задыхаясь от восторга и пыли, тыкались носом в занавески. Рядом лежали мама и тетя Наташа, — почему-то они не выражали никакого восторга, а были бледны и испуганно переглядывались.

На этом мои боевые воспоминания кончаются, я ничего уже больше не помню, но лента прошлого все разворачивается перед глазами, как будто, раз начав, она уже не может остановиться. Это я лежу уже на траве под маленькой березкой — их целая рощица за флигелем, где высокая и такая густая трава. Я лежу, покусываю травинку и смотрю в небо — по нему лениво плывут белые облака и трепещут слегка листья березки.

На фоне этого неба я вижу снова большой папин кабинет на Мойке, где мы возимся на полу с дядей Корнеем Ивановичем. Он ужасно длинный и худой и показывает нам, как надо ездить верхом. Конь, конечно, он сам, и мы с восторгом залезаем ему на спину — он скачет, а мы валимся на ковер все вповалку, и конь делает вид, что ему плохо, — лежит и только судорожно дергает длинной ногой. Потом он рисует нам лошадок на твердом картоне. Их надо вырезать, и они получались как живые — развевающаяся грива, веселые оскаленные морды, даже ноги у них, по-моему, двигались, и брыкались они, как всамделишные кони.

Иногда в возне на ковре принимал участие и поросенок Аполлон, которого привезли с Черной речки и который вел культурную жизнь в городской квартире — чисто вымытый, розовый и веселый. Как собачка, он прибегал на зов, трясая своим закрученным хвостиком и белым бантом на шее. Стоило позвать: «Аполлоша, Аполлоша!» — как он появлялся, стуча копытцами, в столовой и, с трудом вскарабкиваясь на стул, усаживался там в ожидании подачи. Все гости были в восторге от Аполлона, и папа искренне восхищался умом и милым характером животного.

Один раз бедный поросенок чуть не погиб, рискуя превратиться в копченого еще при жизни. Он ночевал на кухне, и наша кухарка сначала долго не могла привыкнуть к присутствию свиньи в доме. «Свят-свят-свят...» — говорила она скороговоркой и отворачивалась, уверяя, что Аполлон похож лицом, то есть мордой, на черта. Но потом она его полюбила за кроткий нрав и отвела ему место на лежанке русской печи, так как Аполлон чрезвычайно ценил тепло. Случилось так, что однажды утром поросенок не явился на папин зов. Папа забеспокоился и поднял на ноги весь дом. Все искали, звали, но Аполлон как в воду канул. В двадцатый раз осматривая коридор, папа вдруг услышал из-за стены сдавленное хрюканье. Приложив ухо к стене, папа явственно услышал тихий визг, даже сопение. Оказалось, что

кухарка забыла закрыть дымовое отверстие на печи и Аполлон провалился в трубу. Пришлось звать печников, которые разобрали стену в коридоре и извлекли наконец Аполлона, полузадушенного, вымазанного сажей до неузнаваемости.

Впоследствии милое животное превратилось в толстую, могучую свинью и уже не выходило из кухни, а коротало свои дни в обществе кухарки, которая души в нем не чаяла. Наконец на семейном совете было решено отвезти Аполлона обратно на Черную речку. Приехала телега, спустили беднягу на лифте и при огромном стечении народа взвалили Аполлона на телегу.

«Верка!» — слышу я отдаленный голос Тина. Всегда негромкий и слегка насмешливый, на этот раз он звучит нетерпеливо и раздраженно, — наверное, уже долго ищет меня бедняга Тинчик. Это редкий случай, что мы не вместе, но его заставили определить, который час, а так как он ошибся чуть ли не на полсуток, то должен был провести перед часами в столовой, слишком хорошо знакомыми и мне, некоторое время в уединенном размышлении. Я быстро все это вспоминаю, видение смешного поросенка исчезает без следа, и я поспешно бросаюсь на голос. «Тин!» — кричу я и слышу его обрадованный ответ. Вот и он — маленький, щупленький, босой. «Где это ты пропадаешь? — спрашивает он подозрительно. — Я уже весь задний двор обегал!» Мне как-то совестно сказать ему, что я валялась в траве и вспоминала, — кажется, так называется это занятие у взрослых. Я что-то там отвечаю, он успокаивается, и мы отправляемся на наш запущенный огород — там еще кое-где попадаются никем не посаженные, дико растущие морковки и репки. Мы вырываем несколько этих корнеплодов, полощем их просто в луже, которая всегда стояла за амбаром, — это были низкие, всегда пустовавшие строения, в маленькие оконца которых видна была черная вода, неподвижно стоявшая там и никогда не просыхавшая, — и бодрой рысью направляемся в наше заветное укромное местечко, чтобы там без помехи съесть овощи. Усевшись за кустами, каждый на свое место, мы очищаем репку от кожицы самым примитивным образом — просто зубами, сплевывая ее в аккуратные кучки. Очень вкусные были репки — сладкие, сочные.

Мы жуем с хрустом и мирно беседуем, но у меня в голове все вертятся картины нашей жизни в Петрограде, мне хочется завести с Тином разговор, узнать, помнит ли он дедушкину квартиру на Миллионной и бульдога Квака, с которым мы так увлекательно играли. Я не знаю, как начать, но тут Тин вдруг говорит: «Жалко, что у нас тут нет никакой собаки, помнишь, как весело было с Кваком?» Удивительная вещь, — я только подумала, а он уже

говорит. Перебивая друг друга, мы начинаем вспоминать все подробности нашего житья у дедушки.

Мы с Тином гостили у дедушки около двух месяцев, — гостили бы, может быть, и дольше, но бедный дедушка не выдержал, уж очень мы разбойничали. Илья Николаевич был добродушный старик с благородным лицом. Густая грива серебряно-белых волос придавала ему сходство со львом. Черный цвет его усов явно не гармонировал с белизной волос, и мы долго недоумевали, как это может быть, пока где-то не прослышали, что дедушка фабрит усы. Потом мы даже нашли баночку с черной мазью на его туалетном столике, — дедушка очень следил за своей наружностью, и на столике перед трехстворчатым трюмо у него лежало множество всяких щеток для волос и ногтей, ножички, напильнички, стояли флаконы с духами и баночки с кремами. Мы пытались нафабрить этой мазью усы бульдогу Кваку. Пес, конечно, яростно противился этой операции, но мы все же вымазали ему краской морду, и он так уморительно чихал и фыркал, что мы катались от смеха под кроватью, где проводили это косметическое вмешательство в природные внешние данные собаки. Потом, однако, он очень воодушевился и гонял за нами по коридору, а мы с визгом удирали.

Забравшись однажды в дедушкин большой кабинет, мы нашли надувную кожаную подушку, которая для мягкости лежала на стуле перед письменным столом. Мы тут же обнаружили в ней прекрасные летные качества: ловко брошенная умелой рукой, она летела бреющим полетом над мебелью, а Квак мчался сзади, подпрыгивая и норовя схватить ее зубами. Наконец это ему удалось, и тогда никакими силами нельзя было вырвать у него добычу. Я схватила подушку за другой конец и стала вертеться вокруг собственной оси все быстрее и быстрее. Послушное центробежной силе тело Квака отделилось от земли, и он полетел кругами над полом, сжав мертвой хваткой челюсти и зажмурив в упоении глаза. Приземлившись, он еще долго терзал подушку, потом наконец бросил, и мы стали снова бросать ее. Она сильно пострадала от зубов Квака, стала выпускать воздух и при полете очень мелодично посвистывать, отчего мы пришли в еще больший восторг и тут же окрестили «таратайкой». Удовольствие было прервано внезапным появлением дедушки. Он вырос в дверях так неожиданно, что уже нельзя было ничем остановить роковой полет «таратайки», и прямым попаданием в лицо дедушка был так разозлен, что выгнал нас из кабинета, нажаловался маме, и, кажется, тем и кончилось наше у него пребывание.

Мы не очень об этом жалели — дома было куда веселее и никто на нас не шикал и не возмущался нашим неприличным

поведением. Одного Квака нам было жаль, мы так полюбили этого маленького черного бульдога. Его некрасивая морда с приплюснутым носом и черными умными глазами, его необыкновенная кожа на спине, которой там было, очевидно, слишком много, так как она свободно собиралась складками, страшная сила в кривоватых ногах, а главное, знаменитая мертвая хватка — все эти прелести заставили нас горько плакать при расставании. Кроме нас с дедушкой, никто больше не любил беднягу Квака. Даже мама его возненавидела с тех самых пор, как вздумала с ним прогуляться. Особенно изящно одевшись, мама повела на ремешке Квака, который своим заграничным видом должен был подчеркнуть элегантность маминого парижского туалета. Выйдя на тротуар, бульдог с силой нажал своими кривыми лапами и стремительно потащил маму через улицу. Натянув до отказа ремешок, мама пыталась остановить его — куда там! Квак совершенно подчинил маму своей несокрушимой воле и таскал ее бегом с одной стороны улицы на другую, иногда резко притормаживая у фонарных столбов. Придерживая одной рукой шляпку и чуть не плача, мама бегала за Кваком со скоростью, вовсе не соответствовавшей ее костюму и манерам. Наконец собака удовлетворилась прогулкой и нашла возможным доставить маму домой запыхавшейся, красной, со съехавшей на сторону шляпой и с запачканным в стремительном беге подолом длинного платья.

Все это мы вспомнили с Тином, и нам было грустно и жаль чего-то, как будто мы чувствовали, что те времена уже не вернутся. Петрограда мы действительно больше не увидели, и вся жизнь сосредоточилась на Черной речке. Она становилась все суровее и замкнутее, но на нас мало отражались внешние события, так как мы были слишком заняты своими детскими делами и приключениями.

Папа работал по ночам, и всегда с ним была мама, стуча на пишущей машинке под его диктовку. Мама писала виртуозно, ее пальцы с непостижимой быстротой бегали по клавишам, а папа ходил по комнате и диктовал. Мама рассказывала, что он никогда не сомневался в продиктованном и не менял ни одного слова. Он говорил, как будто бы читая что-то давно написанное, со всеми точками и запятыми, со всей отшлифованной точностью своего особенного стиля. Самому ему было трудно писать. Пальцы его правой руки были изуродованы еще с детства: катаясь на коньках, он упал и порезал себе руку об осколок бутылки — было повреждено сухожилие большого пальца, он плохо сгибался, и папа держал перо между указательным и средним пальцами, только придерживая его неестественно вытянутым большим.

Он сам рассказывал нам и про этот случай, и про тот, когда он хотел застрелиться, а старинный пистолет разорвался у него в руке, и пуля только поцарапала ему ребро. Это было давно, еще до смерти его отца, — он был молод, здоров и красив и вот — хотел умереть.

Еще он рассказывал нам, как, будучи гимназистом последнего, восьмого класса, он поспорил с товарищами, что пролежит под поездом. Они гуляли весной вдоль полотна железной дороги где-то за Орлом, и папа заявил, что если лечь между рельсами вдоль пути, то поезд может пройти над человеком, не причинив ему вреда. Он-де изучил этот способ, и именно в этом месте железной дороги, где они сейчас проходят, есть удобное место — поезд поднимается в гору и цепи между вагонами должны быть натянуты — немаловажное обстоятельство, так как иначе они могут зацепить или ударить лежащего. Товарищи — между ними были и девушки — смеялись и говорили, что лечь, пожалуй, можно, только когда приблизится поезд, всякий струсит и удерет. И тут папа заявил, что он пролежит под поездом, — пари? Все продолжали смеяться, но, когда раздался свисток приближающегося поезда и папа взбежал на насыпь, все испугались и стали кричать, чтобы он вернулся. Не тут-то было! Папа улегся на шпалы вдоль рельсов, как можно больше прильнув к ним, и замер. Вскоре рельсы задрожали и тихонько загудели, потом задрожала и земля под страшной тяжестью стальной махины. Товарищи отчаянно кричали: «Беги! Беги! Еще не поздно!»

Папа рассказывал, что ему тоже нестерпимо хотелось встать и убежать, но странное упрямство, даже скорее не упрямство, а чувство непоправимости — теперь уже все равно! — охватило его и парализовало сознание. Еще он увидел, как над ним повис желтый, круглый, тускло мерцающий глаз и тупо уставился на него. В следующий момент грохот и лязг стали оглушительными, папа ткнулся лицом в битые камни, пахнувшие мазутом, и замер. Ему казалось, что весь мир состоит из одного этого нестерпимого грохота, ему казалось, что он уже давно раздавлен, уничтожен. В самих костях, в мозгу отдавались лязг, бряцание и гром. Земля тряслась и ходила ходуном под папиным распростертым телом, а в мозгу сверлило огнем безумное желание поднять голову и вскочить. Папа говорил, что это желание как раз и было самым страшным испытанием. Он почти уже терял сознание, как вдруг что-то сильно ударило его в затылок, и в тот же момент грохот ослабел, стал затихать, и только земля еще подрагивала и плыла куда-то да горячие рельсы тонко и нежно звенели. Папа хотел встать, но слабость сковала все тело, и он не мог пошевелиться.

Но тут уже подбежали товарищи, стали тормозить, ощупывать — они думали, что он убит. А папу только задела тяжелая цепь, свисавшая с буфера последнего вагона, и он отделался одной здоровой шишкой на затылке. Вот какой отчаянный человек был наш папа!

Он преклонялся перед Джеком Лондоном, его роднили с ним страсть к приключениям, мужество и твердость его героев, свободный дух, романтическая широта его души. Казалось, он сам был одним из героев Джека Лондона, и, когда он рассказывал нам содержание «Белого клыка», мы ничуть не сомневались, что все это произошло с ним, — так взволнованно звучал его глуховатый голос, таким мальчишеским восторгом сверкали его глаза. Потом, конечно, мы сами прочитали это бессмертное произведение — мало сказать прочитали! — утвердили наизусть, но всегда образ человека, спасшего Белого клыка, сливался в моем воображении с образом папы.

...Белые собаки, запряженные в сани, бегут вереницей по заснеженному льду реки. Их пушистые хвосты подняты вверх, дыхание белым паром стоит в морозном воздухе, а белый человек бежит рядом с ними, размахивая длинным кнутом. Так было нарисовано на обложке книжки Джека Лондона «Белый клык». Но я видела их напряженные тела, слышала скрип полозьев, задыхающийся лай собак и хриплые окрики человека. Все это оживало и двигалось под звуки папиного голоса, и я никогда не могла отделаться от впечатления, что папа рассказывает еще гораздо лучше, чем это было написано в книге.

Так же захватывающе интересно рассказывал папа о несчастном Эдмоне Дантесе, заключенном в мрачном замке Иф, о его дерзком бегстве, о безумном аббате Фариа и о жестокой мести неумолимого графа Монте-Кристо. В книге уже было не то! Исчезало очарование благородного и несчастного героя, бледнел священный трепет молодости перед высокими порывами мятежной души. Все это мы чувствовали в рассказе папы, а в книге оставалось нагромождение громких фраз, высокопарных слов и сомнительное благородство выдуманного героя. Уж очень кровожаден был граф Монте-Кристо!

Д'Артаньян из «Трех мушкетеров» был для нас тоже нашим папой, — это его красивое лицо в широкополой шляпе с перьями я вижу, его небрежные, но полные непостижимой грации движения, его гордый, полный мужества и отваги взгляд. Папа очень увлекался Дюма и, хотя и называл его в шутку «негодяем», всегда в минуты душевной усталости или тоски брал какую-нибудь его книжку и перечитывал. Он говорил, что это чтение освежает голову лучше всякого душа, и всем рекомендовал его

как средство от хандры.

Была длинная и холодная зима — последняя, которую мы провели в нашем огромном и холодном доме. Не было дров, чтобы отопить все высокие комнаты. В столовой, рядом с красивой изразцовой печью, была установлена маленькая железная буржуйка с черной некрасивой трубой. На буржуйке всегда что-то варилось. Чаще всего это был овсяный кисель — студенистая, светло-коричневая масса, похожая на клейстер для обоев. Она распространяла унылый тошнотворный запах, ее наливали тягучей и медленной струей в глубокие тарелки и ставили перед нашими вытянутыми лицами. С убийственным упорством это блюдо появлялось на столе каждый день. Проклятый кисель имел тенденцию жестоко пригорать, и его приготовление требовало совершенно нерентабельных усилий — изволь до одури мешать его длинной деревянной ложкой, благо было бы хоть потом вкусно, а то ведь, прямо сказать, никудышное было кушанье! «Дети, овсяный кисель на столе, читайте молитву!» — эти слова, вычитанные мною из хрестоматии, прозвучали обидной насмешкой, так как чтение молитвы перед поеданием киселя было более чем неуместным, по моему мнению.

Впрочем, вторым блюдом, столь же страстно ненавидимым, как и овсяный кисель, был горох — мелкий, черный горошек, которым кормили раньше коров.

С большого стола в столовой снята скатерть. Скучно освещенные маленькой керосиновой лампой, мы все сидим вокруг. Перед каждым из нас кучка мелкого гороха вперемешку с какими-то зернышками, шелухой, — в общем, мусором. Сосредоточенно, с глубокомысленным видом, мы тщательно отделяем мизинцем правой руки хорошие горошины от плохих и червивых. Кропотливо очищенный горошек сыпается в большую кастрюлю, стоящую посередине стола. Бесконечная работа, совершенно не оправдывающая усилий, на нее потраченных, потому что, когда горох варится на той же буржуйке, вонь стоит страшная по всему дому, а готовое кушанье представляет собою темную, немного пеструю кашу, которую почти невозможно есть, — она буквально застревала в горле.

Более или менее сносным блюдом бывала вареная картошка, политая горячим молоком, но и она имела какой-то унылый вкус.

Зеленого хлеба больше нет — трава ведь зимой не растет. Единственным спасением было молоко — чудесное, жирное финское молоко. За молоком нас посылают к финнам Ранкэ, и я очень хорошо помню длинные ряды крынок со сметаной в их погребе, — пока мне наливали молоко, мой палец судорожно

дергался от стремления запустить его поглубже в крынку. Ощущение голода было постоянным, в особенности страдал Вадим, который пек в своей башенной комнате какие-то лепешки из ржаной муки, распространявшие жуткий чад и смрад по всему дому. Но удивительно, что никто в ту зиму не болел, — все были на редкость здоровы и выносливы и все рыскали по дому, алчно щелкая зубами.

Папа почти не спускался вниз из «гимнастики» — большого зала на втором этаже, где с потолка свешивались трапеции, кольца, стоял турник, козлы и прочее гимнастическое снаряжение. Не помню, чтобы кто-нибудь из взрослых упражнялся в гимнастике, только мы достигли совершенства в катании на кольцах: раскачивались как можно выше и в «мертвой точке» ловко поворачивались всем телом — туда-назад, — летали мы с точностью маятника, отталкиваясь ногами и приговаривая в такт «та-та», «та-та!». Прежде все эти снаряды относились летом в сад, где была устроена гимнастическая площадка. Когда-то площадка была утрамбована и покрыта желтым песочком. Гости в нарядных платьях гоняли крокетные шары, а дети могли кататься на гигантских шагах. Ни следа не осталось от желтого песочка — среди густой травы, покрывавшей площадку летом, виднелись только две узкие тропинки — по одной ходили на рябиновую аллею, вторая тянулась вдоль широкой и длинной скамьи на огород. В парниках садовник когда-то выращивал цветы и крошечные колючие огурчики для окрошки, которую очень любил папа. Теперь в парниках без стекол росла необычайной гущины и высоты крапива, а на грядках разросся в диком виде укроп, и огромные листья лопухов закрывали чахлую морковку. Зимой туда, естественно, никто не ходил, и сплошная пелена глубокого снега была испещрена только следами ворон да зайцев.

Мы все понемногу перекочевали в «гимнастику», занимались там с Вадимом и даже обедали, хотя тетя Наташа жаловалась, что от вечной беготни по лестнице она к вечеру «без задних ног».

В «гимнастике» было уютно и сравнительно тепло. Мы сидели обыкновенно в углу на скамейке, приставленной к угловому шкафу с книгами. Перед скамьей стоял стол, покрытый клеенкой во время занятий и скатертью во время обеда. В шкафу было много книг с приключениями и стояли толстые журналы — «Нива», «Природа и люди». Там была книжка с красивой обложкой — бушующий океан, пальмы. Бернарден де Сент-Пьер — «Павел и Виргиния». Само повествование было мне не понятно описанием чувств не совсем братских, которые питал Павел к своей сестре Виргинии, — и недаром, потому что в конце она оказалась вовсе не сестрой ему, и роман кончается свадьбой, —

на мой взгляд, совершенно неинтересно. Запомнилась только роскошная природа какого-то тропического острова и замечательное описание бури, когда Павел спасает Виргинию с тонущего корабля.

В журнале «Нива» был напечатан роман Чарской «За что», который я втайне от братьев читала, проворно перелистывая страницы в поисках продолжения. Мелькали портреты каких-то усатых генералов и августейших князей. Я долго смотрю на группу: император Николай Второй с императрицей, великими княжнами и наследником. Императрица была красивой женщиной с холодным и неприятным выражением лица, княжны были прехорошенькие, а наследник даже вовсе красавчик — немного грустный, в белой матроске. У царя была борода лопатой, как у мужика, и совершенно бессмысленное выражение на плоском лице.

Интереснее был журнал «Природа и люди». Там тоже были романы с продолжениями, но больше приключенческие. Много картинок. Вот одна: полуразвалившаяся хижина, на полу лежит оборванный человек с неприятно искаженным лицом, вокруг толпится много подозрительного народа. Людей расталкивает высокий тощий старик со злобным выражением лица. Под картинкой написано: «К умирающему приблизился старик с корзиной за плечами...» «Ничего себе „приблизился“, — думаю я, — эх разогнался, еще повалит с разгона умирающего!»

Очень я любила рассматривать иллюстрации к Лермонтову. Страница разделена на квадраты, и в каждом картинка с надписью. Одна из них гласит: «...и перси кровью облились...» Изображен свирепого вида мужчина. Одной рукой он схватил девицу за волосы — какое у бедняги обалделое лицо! — другой втыкает ей кинжал в растерзанное декольте. Когда Саввка дрался с Тином, то, повергнув его на землю, кричал, ударяя в грудь: «И перси кровью облились!» В другой раз Тин, нажав коленом на живот распростертого Саввки, заставлял его проговорить сдавленным голосом: «Хух, — сказала обезьяна». Это «хух», означавшее сдачу на милость противника, было позаимствовано из «Тарзана от обезьян» — не совсем удачное название для такой великолепной книжки, между прочим.

Мы часто употребляли в своих играх и разговорах всякие такие фразы, взятые из книг и из надписей к рисункам. Нельзя сказать, чтобы они приходились всегда кстати. Так, Тин говорил, завидя, как усталая бабушка со вздохом садится в кресло: «Уф, — сказал негр, усаживаясь на пирогу».

В шкафу еще хранилось двенадцать книг «Детской энциклопедии». Когда мы уставали от романов, то брали какую-

нибудь из них и внимательно изучали текст и рисунки. На обложке был нарисован деревенский пейзаж, над которым широким мостом через все небо стояла яркая радуга. На переднем плане сидели юноша и девушка и любовались радугой. Этим прекрасным книгам мы были обязаны нашими сведениями в области физики, химии и прочих технических наук. Там было интересно написано о великих изобретателях, ученых и путешественниках, простым и понятным языком объяснялось, отчего происходит радуга, роса, ветер, северное сияние, кто изобрел книгопечатание, а кто паровую машину. «Ямес Ватт!» — кричали мы, ударяя почему-то кулаками по столу и сильно нажимая на слово «Ямес», — так мы произносили имя Джеймс.

На шкафу стояли глобус и большая гипсовая фигура атлетически сложенного голого человека. Почему-то он был лишен даже кожи, так что обнаженные мышцы и сухожилия переплетались, как веревки, на его поджаром теле. Воинственно протянув вверх руку, человек рвался куда-то вперед.

Один раз за обедом нам вдруг показалась смешной его абсолютная нагота, мы стали бросать на него косые взгляды и хихикать. Тетя Наташа проследила направление наших взглядов, покраснела и повернула злополучную статую лицом к стенке. Но куда там! Мускулистая задняя часть тела бесстыжего атлета вызвала у нас такой приступ хохота, что у Саввки потек носом суп, а Тин подавился огромным куском хлеба и заплевал всю скатерть. Тут уж, однако, рассердилась и мама и строго приказала прекратить безобразие. Холодный взгляд маминых черных глаз обладал такой выразительностью, что замораживал самое буйное веселье, смех тотчас же прекращался и становилось даже непонятно — с чего это мы так развеселились.

После этой зимы мы уехали из нашего большого дома — слишком там стало пусто и неуютно и слишком все напоминало о той перемене, которая произошла в жизни. Ведь все равно к нам никто не приходил, даже родственники куда-то пропали. Пусто было в саду, и молчал телефон, по которому я однажды разговаривала с самим Горьким. Впрочем, никакого разговора не получилось, — со страху я только шумно дышала в трубку и, когда услышала раздавшийся в самое ухо голос: «Кто это там пыхтит?» — пробормотала в смятении: «Не знаю...» После этого трубка была с позором отнята у меня.

Да, когда-то у нас был телефон — специально к нашей даче шли столбы с проводами, и мы любили прикладывать ухо к шершавой поверхности столба и слушать его таинственный шум — не то волны шумят, не то ветер гудит в ветвях. Мы были уверены, что в этот момент кто-то разговаривает по телефону, и

если хорошенько вслушаться, то можно разобрать, о чем разговаривают.

Теперь телефон молчал, водокачка не работала, прислуга ушла. Мы не слишком ломали себе голову, почему это все происходит, просто так было, и нечего было удивляться, что мы переехали на дачу однофамильца Андреева, кажется — в Териоках. Что ж, нам отлично жилось в этом удобном каменном доме — было тепло и всюду горело электричество. В большой детской под потолком ярко горела лампочка. «В сто свечей», — говорила с уважением тетя Наташа, но мы долго не могли привыкнуть к ее ослепительному, как нам казалось, свету, который равномерно освещал все уголки комнаты, но делал лица странно бледными и безжизненными.

Настроение было тревожным, папы почти не было видно, мама тоже редко забегала в наши комнаты, тетя Наташа шумно сетовала на дороговизну и, вздыхая, стряпала что-то в большой неуютной кухне. Ползли слухи, что с продуктами будет все труднее, что по льду перебегают люди из Кронштадта и что их ищут прожекторами и, найдя, стреляют по ним из пушек.

Видела ли я это на самом деле или только слышала рассказ? Гладкая, белая поверхность замерзшего моря, на горизонте редкие огни Кронштадта — безжизненно, пусто вокруг. И вдруг яркий голубой луч прорезывает черное небо. Его тонкий, длинный столб торчит прямо вверх, потом бесшумно падает — ни свиста рассекаемого воздуха, ни звука падения не слышно. Все происходит в полной тишине, и человеку на берегу кажется, что он зритель в каком-то неом, мимическом театре. Сцена продолжается. Вот луч скользнул по снегу, он кого-то ищет. Как чей-то неумолимый палец, он прощупывает каждый метр безжизненной равнины. И вдруг в его ослепительном, слегка дымящемся свете возникают черные фигурки, темные предметы — не то сани, не то лошади. Они мечутся по снегу, пытаются скрыться, убежать. Им не уйти никуда — неумолимый палец останавливается, он прямо указывает на беспомощных людей. Еще минута тишины, потом изо льда поднимается столб воды, какие-то обломки мелькают, падают вниз, и мертвая, оцепеневшая тишина нарушается отдаленным грохотом орудийного выстрела.

В другой раз мы все стояли на «карнише» — так назывался высокий берег залива, по которому шла дорога из Черной речки в Териоки. Опять рассказ? Но почему же я так явственно помню далекий Кронштадт, его белые домики, сильно приближенные папиным морским биноклем? Кронштадт горит! Все ярко освещено пожаром, все в огне, тяжелые, снизу багровые клубы

дыма стелются над домами. И вдруг в этом дыму появляется маленькая точка. Это аэроплан. Он летает над городом, как мошка над пламенем свечи. Огонь взметнулся длинным языком, доносится взрыв — еще и еще. Аэроплан бросает бомбы — прямо в гущу огня и людского горя. Несчастные — они погибают от бомб, падающих с неба. Аэропланчик, такой маленький, беспомощный на вид, все кувыркается в розовом дыму. Но вдруг он стремительно срывается с неба и со страшной скоростью исчезает в огне пожара. Через томительно долгое время доносится взрыв, и потом уже полная тишина — только пламя танцует, и дым поднимается еще выше и застилает все.

Все это ужасно, но мы скоро привыкаем к взрывам, выстрелам и аэропланам, и мрачное выражение лиц взрослых уже не портит нам настроения. Мы находим себе массу развлечений, мы охвачены страстью первооткрывателей в этом заброшенном дачном поселке.

Уже многие дачи пустовали, большие дома, обставленные дорогой мебелью, с коврами, занавесками, роялями, стояли тихие, покинутые. Мы залезали в такие дачи и долго ходили по комнатам, исследуя кабинеты, спальни, столовые. Один раз мы попали в одну особенно красивую дачу, поднялись по широкой лестнице на второй этаж и там долго играли в прятки. Когда игра наскучила, нам пришла в голову гениальная мысль — нельзя ли спустить с лестницы все эти кресла, столики, одним словом — мебель? Предложение было встречено с энтузиазмом — мы тотчас стали подтаскивать к лестнице первое попавшееся нам на глаза кресло. Его положили набок, сильно толкнули, и вот оно уже запрыгало по ступенькам — сначала вяло и как будто нехотя, потом все проворнее. Сделав последний прыжок, кресло приземлилось внизу, причем спинками ножки тут же отделились и разлетелись в разные стороны. «Вот это здорово!» — вскричали мы в восторге и стали таскать и сбрасывать все, что стояло в комнате. Красные и потные, мы волочили все новые кресла и столы, подталкивали и, помирая со смеху, следили за их прыжками и пируэтами. Внизу выросла уже целая гора поломанной и исковерканной мебели, когда Саввка выволок из спальни — в первой комнате уже было пусто — тонкий, изящный столик с выгнутыми ножками. С торжествующим криком Саввка пустил его вниз. Круглый столик развил рекордную скорость, — как какой-то сошедший с ума кенгуру, он делал бешеные скачки по ступенькам, потом описал дугу и врезался в груды обломков. Он взорвался там подобно гранате, разбросав свои и чужие ножки веером во все стороны, а его лакированная крышка взлетела высоко в воздух и просвистела в нескольких миллиметрах от...

головы неожиданно появившегося в дверях человека. Как громом пораженные, мы застыли на месте, и нечестивый смех замер на губах. Сторож пустой дачи — это был он, а мы-то думали, что здесь никого нет... Как пойманные в силки кролики, мы смотрели на его суровое лицо — что же теперь будет? А он приказал нам подбирать обломки и носить обратно в комнаты. В гробовом молчании мы повиновались и стали поспешно носить все эти кресла и столики наверх, ставить на место, прилаживать вырванные с мясом ножки и разные инкрустации. Сойдясь вместе в какой-нибудь спальне, мы шепотом советовались — что же делать? Бежать? Но окно второго этажа высоко, а под лестницей стоит грозная фигура... Пришлось пойти по тернистому пути унижений, просьб, обещаний, подкрепляемых самыми горькими слезами и сморканьем. Наконец сторож смягчился. «Чтобы я вас тут больше не видел!» — рывкнул он и, дав каждому здорового пинка, вытолкал из дома.

Мы долго жили в томительной неизвестности — пожалуется или не пожалуется он папе? Не пожаловался, и никто никогда не узнал о нашем преступлении. Больше мы дач не разоряли, хотя часто залезали в какую-нибудь из них для игры в прятки, предварительно убедившись, что ее никто не сторожит.

Очень интересно было бродить по этим пустым дачам. Ветер врывался в открытые окна, шевелил занавески, поднимал с полу листы разбросанных писем и гонял их по коврам. Чужая интимная жизнь представляла перед нашим любопытным взором. Кто писал эти письма, чьи любящие горячие слова носят теперь в холодном сквозняке покинутого дома? Где люди, которые жили здесь, смеялись и разговаривали? На пыльном паркете грязные следы чьих-то огромных сапог. Вот стоит драгоценный концертный рояль — его струны вырваны чьей-то вандальской рукой, а клавиши раздавлены и разбиты тяжелым сапогом. В громадном, во всю стену, венецианском зеркале торчит камень, и длинные трещины, как змеи, извиваются на его пыльной таинственной поверхности. А занавески на окнах, вышитые салфетки, ковры — ничего не тронут. Мы залезаем под диваны, чихаем от пыли за занавесками, прячемся в душных каморках, где валяются рванные детские книжки и сломанная лошадь с оторванным хвостом. «Мальчик Боб своей лошадке дал кусочек шоколадки, а она закрыла рот, шоколадки не берет...» — задумчиво и нежно звучат в моей памяти детские стишки.

На андреевской даче нашему учению было оказано более серьезное внимание — мы все что-то писали и учили наизусть стихи, от которых в голове оставалась подчас довольно неожиданная каша. Но никогда потом я так не переживала все

злоключения Евгения из «Медного Всадника», как тогда. Возможно, что пробуждению любви к стихам я многим была обязана Вадиму, который преклонялся перед стройными, отчеканенными из какого-то гулко и звучного металла стихами Пушкина. До сих пор я не могу читать или слышать равнодушно «Медного Всадника»: «И, озарен луною бледной, простерши руку в вышине, за ним несется Всадник Медный на звонко скачущем коне...» У меня мороз бежит по спине, слезы готовы брызнуть из глаз, а волосы, чудится мне, приподнимаются на голове и шевелятся, как от дуновения чьего-то легкого, вдохновенного дыхания.

И вот детская психология — рядом с подлинным увлечением и восхищением пушкинскими стихами легко уживались смех и карикатурное изображение того же «Медного Всадника». И тот же Вадим приглашает нас в свою комнатку для «инсценировки» этой бессмертной поэмы. Перед этим сеансом тетя Наташа предусмотрительно заставляла нас посетить уборную — мало ли де что может случиться от смеха. Начиналось представление — без костюмов, конечно, без грима и все с участием одного актера. Вадим то стоял на берегу, скрестив с мрачным глубокомыслием руки, — «дум великих полн», то изображал волны — «как воры, лезут в окна», и в самом деле лез, озираясь, на окно, то сидел верхом на льве, то бишь на стуле, «без шляпы, страшно бледный Евгений» — все это сопровождалось декламацией текста с ужасным завыванием и пафосом. У нас ломило челюсти от хохота, мы валялись по дивану, держась за животы, а Вадим все больше воодушевлялся, пока наконец не переходил к самому драматическому моменту: усевшись верхом на стул, «подъявши руку в вышине», он скакал по всей комнате за Тином, который, спотыкаясь и давясь от смеха, бегал от него вокруг стола, а в дверях появлялась тетя Наташа, напуганная «тяжело-звонким скаканьем по потрясенной мостовой...».

Декламировались и изображались в лицах и другие стихи, содержание которых мне было менее понятно, мне даже казалось, что это шуточные стихи, выдуманные для нашей потехи самим Вадимом. Так, он вдруг хищно бросался на Тина, тискал его в объятиях и выкрикивал: «Хочу быть смелым, хочу быть дерзким, хочу одежды с тебя сорвать!» — действительно расстегивал и срывал с него его одежды, а Тин, который страшно боялся щекотки, взвизгивал и хрюкал от смеха, дрыгая ослабевшими ногами в воздухе.

Не берусь судить, насколько правилен этот способ заучивания стихов, но мы в три счета все запоминали, и я знала наизусть всего «Медного Всадника», «Полтаву», «По синим волнам океана»,

«Бородино» и много других крупных и мелких стихотворений. Иной раз, правда, в голове получалась довольно странная каша, так как я, чего-нибудь не понимая, старалась сама найти объяснение, не прибегая к помощи взрослых. Судите сами, дорогой читатель, что это была за каша, когда я однажды спросила папу: «Кто такие флюгеране?» — «Что такое?» — спросил папа, ничего не поняв. «Ну флюгеране — такой, наверное, народ, вроде англичане?» — «Да откуда ты взяла?» — «Ну как же: „...не гнутся высокие мачты, на них флюгеране шумят“», — пробормотала я. Папа дико захохотал и пошел из комнаты. Еще долго я слышала его удаляющийся хохот и возгласы: «Нет, ты только послушай, Аня, что Верка говорит: „флюгеране“... народ такой... ха-ха-ха!»

После этого я уже не рисковала приставать с расспросами и только про себя недоумевала над непонятными словами песенки из репертуара тети Наташи: «Ты уйдешь с толпой цыганок, закипит качкачий бой!» — что за «качкачий бой» и почему он сейчас же закипит, как только она уйдет с этой толпой? Ерунда какая-то! Тетя Наташа очень любила трогательную песню о чайке: «Но что это за выстрил? (она так и пела „выстрил“) — нет чайки прелестной, она умерла, трепетю в камышах...» «Что это еще за „трепетю“?» — думала я в недоумении. «И колокольчик, дарвалдая, звенит и пляшет под дугой...» — выводит звонко тетя Наташа, а я думаю: «Наверное, это деепричастие от глагола „дарвалдать“». Занятное какое слово, очень образное — так и видишь, как этот колокольчик весело болтается, «дарвалдает» под дугой.

Зимой на андреевской даче выпало много снега, и пространство перед окнами столовой было покрыто глубокими сугробами. Под предводительством Вадима мы построили там настоящую крепость из снега. Мы лепили из него продолговатые яйцеобразные кирпичи, называвшиеся «поросятами». Если не было оттепели и снег не лепился, то мы таскали воду и поливали его. Из этих «поросят» Вадим очень искусно возводил стены, прилепывая щели кусками мокрого снега и приглаживая доской и руками. Вырос большой дом в три этажа — первый состоял из большой комнаты, принадлежавшей Саввке, и низенькой пристройки, предназначавшейся сначала для хранения продуктов, но, за неимением оных, перешедшей потом в мое владение и называвшейся «Веркиной комнатой». На втором этаже была комната поменьше — для Тина, а третий этаж крыши не имел, а изображал башню с зубчатыми стенами и бойницами. Во все апартаменты надо было лезть на четвереньках, а то и просто на животе. Потолки были укреплены досками, замаскированными

теми же «поросятами». Мы натаскали в комнаты сена, чтобы было мягко сидеть, и стали в доме жить. Сидишь, бывало, скорчившись на сене, и такой от него запах приятный — смешанный с запахом талого снега, лошадей, немного даже навоза — какая-то удивительно бодрящая, живительная смесь. Глянешь в окошко — там снег искрится, воробьи скачут, а мы вот сидим в собственном доме, живем себе! Потом кто-то нечаянно поджег это наше сено, и в доме случился пожар, после которого стало еще интереснее, — на потолке образовались черные блестящие сталактиты, стены стали пузырчатыми и тоже здорово блестели, а по всему дому страшно воняло дымом и гарью, как в кузнице. Моя пристройка сильно расползлась и сплющилась, но зато по ней можно было легко взбираться на второй этаж, так что даже папа как-то раз поднялся на башню и полюбовался оттуда видом. В конце концов пристройка превратилась просто в покатую горку, внутрь нельзя было пролезть даже ползком, и мы катались оттуда на санках, а наш красавец сенбернар Маркиз взбегал наверх и озирали окрестности, добродушно виляя хвостом и изредка лая на прохожих своим бархатным, как у певца-баритона, голосом. Однако прохожие, слышав его голос, быстренько сообщали, каких размеров может быть эта собачка, и поспешно переходили на другую сторону улицы. Если бы они знали, какой добряк был наш Маркузька, если бы видели, как покорно он подставлял нам свою спину для верховой езды, как мы кладем ему голову в пасть с чуть ли не двухсантиметровыми клыками и как он слегка, очень нежно покусывает нас за мочку уха! Дома на Черной речке он обыкновенно лежал летом под столом на веранде, изнемогая от жары в своей шубе, а мы клали ему на спину свои босые заскорузлые ноги и говорили: какова королевская подушка! За обедом он садился около папиного кресла и с вожделением в добрых глазах следил за кусками, исчезающими у папы во рту. С его длинного, розового, как ломоть ветчины, языка текла тоненькой струйкой прозрачная слюна. Вот папа берет кусок хлеба, целый большой ломоть, и держит его высоко над головой Маркиза — пес торопливо облизывается, открывает пошире пасть, хлеб падает, страшные зубы щелкают один всего раз, глоток, и вот опять выжидательная поза, язык висит, и с него капает. Папа возмущается: «Нельзя же так глотать, ты бы пожевал хоть немного! Так даже вкуса не почувствуешь!» Маркиз наклоняет голову, как на пластинках «Хис мастерс воис», и виновато помаргивает.

С Маркизом было весело гулять. Мы любовались его размеренной рысью, когда он бежал впереди нас по дорожке, — хвост пышным султаном завернут на спину, белоснежные штаны

на ляжках мерно колышутся, прохожие отскакивают в стороны, а Маркиз даже не смотрит: «Какие-то там дураки!» — наверное, думает он.

Однажды, глубокой уже ночью, Маркиз лежал на площадке лестницы, ведущей на второй этаж. Это была довольно большая площадка, покрытая ковром, там стояли стол и несколько кресел. И на столе, забытая тетей Наташей, стояла тарелка с большим куском сливочного масла, этак в 500 граммов весом. Маркиз крепко спал, не обращая никакого внимания на масло, — он никогда ничего не брал со стола. Вдруг раздался далекий, но могучий взрыв — дом вздрогнул, тоненько зазвенели стекла, электричество мгновенно потухло. В тот же момент Маркиз вскочил, как подброшенный пружиной, бросился на масло и разом его проглотил. Наверное, в подсознании перед ним все маячило это масло, и, когда потух свет, он решил, что пришел всему конец, а раз пропадать, так напоследок хоть маслицем полакомиться.

Когда зажгли керосиновые лампы и первый испуг миновал, тетя Наташахватила масло — пустая тарелка и виноватая морда Маркиза сказали ей все. Все смеялись над странной реакцией пса на взрыв, а папа говорил: «Ну, брат, не знал я, что у тебя такие низменные инстинкты, — вот где узнается характер!» — и трепал сконфуженного Маркиза за мягкие вислые уши.

Это был взрыв форта Ино, расположенного километрах в пятнадцати от нас, где, говорят, был большой склад динамита и каких-то других взрывчатых веществ. Взрыв был такой силы, что в нашем доме чуть не полопались стекла, а с крыши свалилась глыба слежавшегося снега, рухнула на провода и порвала их.

А потом явилась весна. Папа выгнал нас всех в сад расчищать дорожки от снега. Так как солнце грело сильно и было совсем тепло, нам разрешили надеть только куртки и кофты. Мы выбежали на крыльцо и зажмурились — так ослепительно ярко светило солнце, так радостно и звонко капала вода — с крыш, с деревьев, — всюду сверкали ее светлые струйки. Крыльцо было уже сухое, но дорожки покрыты еще слоем плотного, утрамбованного снега, похожего на намокший сахар, когда его вытащишь из чая на блюде, — сверху беловатый, а внизу темный, набухший от воды. В некоторых местах он приподнимался прозрачными мысиками над глянцевою землей дорожки, а сквозь него по миниатюрным каньонам текли крошечные извилистые ручейки.

Вооружившись лопатами, мы сильно ударяли по краю утоптанного снега, он легко поддавался, и куски его отделялись, обнажая землю — милую, родную землю, которую мы забыли за время долгой зимы и теперь с радостным изумлением узнавали. Красные, оживленные, мы освобождали томившуюся по солнцу и воздуху землю, и она благодарно дышала, а солнце щедро лило

свои горячие лучи на нас, на ноздреватый снег с вдавившимися в него прошлогодними веточками и листьями, отражалось в ручейках и лужах, слепило воробьев, отчаянно дравшихся на крыше. Оно светилося в папиных ласково прищуренных глазах, оно дрожало, струилось и переливалось радужными вспышками. А на крыльце стояла мама, и ее черные глаза с нежностью и грустью смотрели на папу — самого веселого и озорного мальчишку среди нас.

Наш дом все еще стоял на лужайке, с которой уже почти сошел снег. Обнажилась старая, слежавшаяся, темная трава. Появились забытые еще осенью грабли около черной разбухшей скамейки, а наш дом — покосившийся, грязный — все еще возвышался перед окнами столовой, и все ждали, когда же он упадет. И вот однажды за обедом я рассеянно смотрела в окно, и вдруг на моих глазах наша башня с выломанными зубцами пошатнулась, постояла мгновение, как бы задумавшись, и бесшумно повалилась набок, а весь дом осел и рассыпался на неожиданно белые куски. Маркиз с победным лаем выскочил откуда-то из-за угла, подбежал к развалинам, начал что-то там искать и нюхать, а потом схватил в зубы палку и понесся кругами вокруг бесформенной кучи снега и досок, совершенно ошалев от восторга, поистине собачьего.

На лето мы переехали на дачу Лобека, которая стояла на самом берегу моря, в глубине тенистого сада. Фасадом дача была обращена к морю, но входить в нее надо было со стороны сада. Сад был погружен в зеленую тень, и окна нашей детской были загорожены старой, высокой черемухой с черными, покрытыми зеленой плесенью ветвями, так что в комнате были всегда зеленые сумерки, и лица людей казались бледными и больными. Дача Лобека в моем представлении и есть та самая дача, под верандой которой пряталась Кусака — бедная, всеми презираемая бездомная собака. Это на этой лужайке перед домом кружилась стройненькая гимназисточка Леля, охваченная неудержимой радостью жизни, из-за этих вот чахлах кустиков подкрадывалась к ней одичавшая собака, сюда она вернулась — промокшая, грязная, когда уехали любимые хозяева. Это здесь «...желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо», и это здесь была собака и ее вой «звонящей, острой, как отчаяние, нотой прорезал шум дождя и, замирая, понесся над обнаженным полем».

Что-то печальное было в воздухе этой дачи, в этих зеленых сумерках, в папином бледном лице со страдальчески сдвинутыми бровями. И мы с облегчением убегали из дома по большой веранде в другую часть сада, обращенную к морю, которое тогда

еще неосознанно, но властно притягивало к себе наши жадные до красоты существа. Мы рвались из дома на широкий пляж, который начинался сразу от калитки сада, — навстречу солнцу и ласковому морю. Оно простиралось до самого горизонта — бледное, почти всегда гладкое, спокойное. Что такое эта таинственная черта, называемая горизонтом, и почему от нее нельзя оторвать глаз? Куда она зовет и манит? Какое-то колдовство, не иначе, так как всем известно, что море только кажется бесконечным, что это даже не море, а Маркизова лужа, как пренебрежительно отзывались о нашем волшебном море взрослые. Мы знали, что в каких-нибудь двадцати километрах находится Кронштадт — остров, который в хорошую погоду виден простым глазом, а в папин морской бинокль можно различать даже людей на улицах, — впрочем, в бинокль мне смотреть не давали, и в глубине души я сильно сомневалась, что в него видно людей и даже надписи на магазинах, — очевидно, Саввка приврал для большего эффекта.

Налево в прозрачной дымке должен был быть Петроград. В ту сторону папа всегда направлял свой бинокль и подолгу не отрываясь смотрел. Я тоже всматривалась туда, но ничего не видела, только иногда поблескивало что-то вдаль — это блестел на солнце купол Исаакиевского собора, а по вечерам вспыхивал и мигал далекий свет Толбухина маяка.

Однажды — дело было к вечеру, и заходящее солнце бросало косые лучи в сторону Петрограда — мы, как всегда, носились по пляжу. Воздух был как-то особенно тих и прозрачен, на море абсолютный штиль и белесые волны, гладкие и ленивые, как будто политые маслом. Вдруг слышим — бегут, кричат: «Смотрите! Смотрите!» И видим: бежит папа, за ним мама и еще какие-то люди. Все показывают налево, в ту сторону, где Петроград. И что же мы видим! Приподнявшись над чертой горизонта, прямо в воздухе — голубой, прозрачный, невесомый — предстал перед нами Петроград! Вот дома, улицы, вот величественная громада Исаакия... Взрослые суетились, щелкали фотоаппаратами, говорили, что это редкость, такой мираж, а мы все стояли разинув рты и глазели на это чудо. А оно начало бледнеть, все прозрачнее становились здания, колонны как-то заколебались, все заструилось, задрожало... и вот уже нет ничего. Вот какие штуки умеет выделять море, а они говорят — Маркизова лужа!

А песок? Такое количество чудесного, мелкого, бледно-желтенького песка. Хочется бегать, носиться, бросаться в него с разбега, кататься, обсыпаться без конца. А главное, копать. Руками, лопатками, палками. Выкапывать ямы, бассейны для

рыбок, возводить башни, крепости, просто кучи — как можно выше и больше.

На том месте, где волны расплескиваются о плоский берег, навалена гряда принесенных ими очаровательно круглых и легких палочек камыша. В мокром виде они темные, тяжелые, пропитанные водой, как губки, а высыхая, делаются беленькими, почти невесомыми и употребляются нами для различных целей.

Во-первых, мы строим капканы или волчьи ямы для поимки друг друга. Техника строительства очень проста: надо отгresti слой сухого песка в сторону, потом аккуратно копать, стоя на коленях, узкую и глубокую яму. Под конец приходилось ложиться на живот и во всю длину руки выгребать ставший уже мокрым и крупным песок. Яма готова — ее диаметр невелик, зато глубина внушительна. Потом мы брали сухие тростинки и перекрывали ими крест-накрест отверстие. На решетку клали осторожно слой мокрого песка, а потом присыпали сухим, стараясь, чтобы все выглядело как у Сетона-Томпсона — как можно естественнее.

Таких капканов было накопано нами по всему пляжу, мы сами иной раз забывали, в каких именно местах, и было очень потешно видеть, как сами же строители проваливались в свою же ловушку. Страсть к строительству волчьих ям привела, однако, к плачевному концу. Увлечшись этой страстью, мы сделали несколько усовершенствованных и тщательно замаскированных ям при самом выходе из калитки на пляж, и в один из этих капканов попала бабушка. Беспомощно хватаясь за окружающий песок, рука бедной бабушки — совсем как у Сетона-Томпсона! — провалилась в другую яму, она испугалась и стала громко призывать на помощь. На ее крики примчался гигантскими скачками папа, и смех замер у нас на устах при одном взгляде на его страшное лицо. Надо ли говорить, что мы были изрядно выпороты, а великолепные ямы под всхлипывания и скрежет зубов засыпаны. Берег был теперь безопасен для прогулок.

После этого мы увлеклись строительством вулканов. Это были высокие конусообразные кучи из песка с узким и глубоким кратером. Внизу были прокопаны ходы, необходимые для успешного сгорания маленького костра из тростинок, помещенного на дне кратера, или, вернее, в центре земли. Мы поджигали костер и отходили немного, чтобы окинуть взглядом художника свое творение. Из кратера поднимался величественный столб дыма, порой показывались языки пламени, и издали зрелище являло собой грозную картину извержения. Вскоре пляж стал походить на Курильские острова, где в совершенном противоречии с данными вулканологии дымили в ряд Везувий, Этна, Ключевская сопка и Кракатау. Наконец и это

развлечение прекратилось вмешательством взрослых, так как Саввка однажды обжегся, у него вскочил волдырь с куриное яйцо величиной, и спички были отобраны.

Тогда мы обратили свой пытливый взор к морю и решили пуститься в плавание. Для этой цели мы приспособили две здоровые доски, положив их накрест друг на друга. Если стоять в середине крестовины, то доски не тонули и можно было плыть, отталкиваясь шестом, — волны били, доски разъезжались, стремясь встать в параллельное друг другу положение, и нужна была большая доля сноровки и лихости, чтобы не слететь в воду. Однажды Саввка, достигший немалого искусства в этом виде водного спорта, отъехал так далеко от берега, что его длинный шест едва достигал дна. В это время папа вышел на пляж и с удивлением воззрился на странный феномен — на порядочном расстоянии от берега Саввка, не погружаясь в воду, шел, как Иисус Христос, по волнам! Досок не было видно, но папа, конечно, быстро сообразил, в чем тут дело, и мореплавание тоже было запрещено.

Что тут делать? Некоторое время мы уныло слонялись по пляжу, пока не обратили внимание на широкую гряду больших и круглых валунов, которая тянулась далеко по берегу, отделяя песчаный пляж от медных колонн соснового леса. Эти камни были навалены в причудливом беспорядке и гладко обточены водой. Они глухо гудели под ногами, когда мы неслись по ним со страшной скоростью, едва касаясь босыми подошвами теплой поверхности. Такой бег требовал быстроты и точности движений, хорошего глазомера, молниеносной находчивости и просто отваги.

Страшно было подумать, что бы случилось, если вдруг поскользнулась бы нога или скачок был бы плохо рассчитан, — вряд ли такое падение кончилось бы простым переломом, тут можно было разбиться насмерть. Взрослые ахали и хватались за голову, а папа только посмеивался, а потом научил нас прыгать с высокой стены на песок. «Прыгайте на носки, не на пятки!» — говорил он, и мы с замиранием сердца летели с трехметровой высоты, а тетя Наташа в ужасе восклицала: «Хоть девочку пожалейте!»

Мы совершали длинные прогулки по берегу в обществе Маркиза или пары черных овечек — Антония и Клеопатры. Эти потомки библейской пары Исаака и Ревекки бегали за нами, как собаки. Они были привезены с Черной речки еще ягнятами и трогательно обожали друг друга. Стоило закричать: «Антоша, Антоша!» — как тут же слышалось ответное «мэ-э» и появлялся Антоний, а за ним обязательно поспевала Клеопатра, ласково

именуемая Клепочкой. Около кухонного крыльца стояли их миски, ежедневно наполняемые щедрой рукой тети Наташи, ко если мы обедали на веранде, то Антоний и Клеопатра, стуча копытцами, взбегали по ступенькам и стояли около стульев обедающих, ожидая подачи. Они часто уходили далеко по пляжу, так как калитка никогда не закрывалась, и вскоре соседи стали жаловаться, что овцы заходят на огороды, вытаптывают их и поедают насаждения моркови и капусты. Никакие увещания и запреты не помогали, и скоро мы дожили до страшного дня — на веранде без всякого зова появился Антоний — один! Непрерывно бля охрипшим голосом, он с тоской оглядывался назад. Во всем его облике были страдание и растерянность. Всплеснув руками, тетя Наташа побежала к морю — баран за нею. Мы побежали следом за ними. Антоний шел впереди, сипло мекая и беспрерывно оглядываясь, как бы приглашая поторопиться. Дойдя до поворота, Антоний побежал — в его голосе слышалось настоящее отчаяние.

Вдали, у самой кромки воды, виднелось что-то черное. Это была бедная Клепочка. Она лежала на боку, ее вытянутые ножки омывали волны, стоя чаек с резкими криками носилась над нею — их крик смешивался с хриплыми рыданиями Антония. Мы молча стояли над трупом — каким же жестоким может быть человек! Убить такое милое, кроткое животное! Антоний тыкался носом в шею Клепочки, оглядывался на нас, как бы приглашая посмотреть: видите, она не встает. Потом он, видимо, понял, что мы ничем не можем помочь ему, — подогнув колени, он положил голову на шею Клепочки, прижался к ней и затих.

Волны плескались, чайки кричали, а мы стояли молча, потрясенные этим горем животного, в котором было так много человеческого.

После смерти Клепочки Антоний затосковал, мало ел, блял настойчиво и все убегал к тому месту, где она лежала мертвая. Его увезли на Черную речку.

Как-то раз мы с тетей Наташей зашли далеко по берегу в сторону Петрограда. Вдруг какой-то странный предмет около самой воды привлек наше внимание. Несмотря на предостерегающие крики тети Наташи, мы бросились бежать к нему, но скоро остановились в немом удивлении. Сначала я не могла понять, что это такое: клочья зеленоватой одежды, вымоченной долгим пребыванием в воде, какие-то ноги... Это человек! Он утонул давно — мясо отстало от костей и висит вялыми кусками. Она даже мало похожа на мясо, эта бледно-зеленая масса. Кожа висит, как мокрая промокательная бумага. Голова лежит лицом вниз, и волны шевелят короткие черные

волосы. Запыхавшаяся тетя Наташа подбежала наконец и резкими криками прогнала нас прочь. Мы вышли из оцепенения и засыпали ее вопросами: кто это? Откуда взялся этот утопленник? Это солдат? Какой солдат? Но тетя Наташа только мотала головой и поспешно уводила, запрещая оглядываться.

В другой раз, выйдя ранним утром на пляж, озаренный золотыми лучами солнца, мы увидели огромный красный шар. Он лежал на гладком и свежем морском песочке, был совершенно круглым, большим, чуть ли не в наш рост, и заржавленное его железо было покрыто ракушками и водорослями. Наверху было что-то вроде крышки, оттуда торчали четыре небольших отростка. Оживленно споря, что бы это могло быть, мы попробовали открыть крышку, но сразу поняли, что это невозможно, — толстые ржавые гайки не поддавались. Тогда, вооружившись палками, мы начали колотить по бокам шара, издававшего глухой стон под этими ударами. «Подождите, отойдите! — закричал Саввка. — Я его сейчас по усам!» — и размахнулся своей дубиной, чтобы трахнуть шар по отросткам на крышке... Страшный крик заставил нас всех остолбенеть — Саввка замер с поднятой над головой дубиной. От калитки по песку неся к нам папа, махая руками и крича что-то неразборчивое, в чем, однако, наш испуганный слух уловил нечто вроде: «Стой! Брось! Выпорю!» Саввка отшвырнул палку на всякий случай подальше, и мы бросились врассыпную от злополучного шара. Задыхающийся и бледный папа загнал нас всех домой, а потом приехали какие-то люди, оцепили пляж, мы даже должны были уйти из дому к дальним соседям, и тут мы узнали, что это был за шар. Это была плавучая мина, и Саввка как раз намеревался ударить ее по смертоносным рогам. После этого нам было запрещено выходить одним на берег.

Этот солдат, утонувший в море, — кто он, кто убил его, откуда принесли его волны на наш берег?

Эта страшная мина — кто установил ее в море, какому кораблю она предназначалась, чьи жизни были спасены милосердными волнами, принесшими плавучую смерть к нашему берегу и бережно положившими ее на теплый песок?

Война шла мимо нас — она проходила стороной, и страшных отзвуков ее не могли слышать наши детские уши, не могли видеть наши наивные глаза, не мог понять беспечный ум. Слепые и глухие ко всему в нашем беззаботном веселье, мы росли, как трава, что зеленеет весной среди истлевших прошлогодних листьев, как тот шиповник, что беспечно распускает свои розовые лепестки над свежевырытой могилой.

Осенью мы уехали в Нейвола. Это была глухая деревушка недалеко от озера Перкьярви. Папин знакомый, литературный

критик Фальковский, предоставил нам для жилья свою дачу. Наверное, папа, мучимый бессонницами и головными болями, думал забраться в эту глушь, чтобы быть подальше от тревожных звуков войны, которую, как и мы, он не мог понять, но которая мучила его, терзала, доводила до мрачного, черного отчаяния.

Как сейчас помню крутой поворот дороги, направо большая рябина с почти горизонтальными толстыми ветвями — на них мы проводили долгие часы, раскачиваясь и напевая что-то, — подобно дикарям с острова Борнео, мы живем на дереве. Слева — высокая ограда и ворота в сад. Дорога заворачивает к большому неуклюжему дому с двумя верандами — одна нелепо выдается вперед. Перед домом еще какие-то постройки, а по двору носится здоровенный злющий пес. Он бежит по проволоке, блок с тяжелой цепью гремит и свистит, а земля под проволокой гладко утоптана его лапами. Мы так боялись этого пса, что даже не дразнили.

Нам не нравилось у Фальковских, хотя мы любили жену Фальковского, тетю Женю, худую, высокую, с большими бородавками на веках. Одна особенно крупная бородавка свисала у нее так низко, что мне казалось, она мешает тете смотреть. Она привозила нам конфеты и со страшной силой тискала в своих худых руках, прижимая к тощей груди так, что спирало дыхание. При этом от нее пахло духами и табаком, как от мамы.

Фальковский был небольшой, кругленький человек с приторно сладким выражением лица и с великолепными пышными усами, которые он растил и холил с большой любовью. В большом и богатом сервизе дома имелась чашка с вензелями г-на Фальковского — в этой чашке было специальное устройство, некая полочка, на которой покоились драгоценные усы, — таким образом они предохранялись от вредного намокания в кофе или молоке.

Столовый сервиз тоже заслуживал внимания — там были глубокие тарелки, все в золоте и вензелях, а на дне каждой был портрет одного из Людовиков, королей французских, в пудренных париках и в жабо. Было очень увлекательно есть суп из такой тарелки — понемногу на отмели возникали локоны короля, потом мясистый нос и наконец все его бабье лицо с несколько изумленным и обиженным выражением — кое-где на лице еще висела лапша или листики петрушки. Мы заключали пари, который из Людовиков кому достался, и вскоре знали их всех в лицо. Мне стало очень смешно, когда много лет спустя, в Версальском дворце, я узнала на старинном гобелене Людовика Четырнадцатого, точь-в-точь похожего на того, из глубокой тарелки.

Скоро мы настолько привыкли к жизни в Нейвола, что одичали и отбились от рук, как говорила тетя Наташа. Немудрено было, однако, одичать, когда сама местность располагала к такому состоянию. Дом Фальковского стоял в совершенной глуши, далеко от железнодорожной станции, куда долго ехали в крестьянской телеге через поля и леса. Бедные финские поля, огороженные знаменитыми «финскими» заборами из косо положенных неотесанных кольев, тянулись уныло вдоль дороги. На озеро нас не пускали, но один раз мы побывали там с кем-то из взрослых, — большое и холодное, оно накатывало свои волны на пустынный берег... «Лишь только финский рыболов, печальный пасынок природы...» Вот именно — печальный пасынок природы!

Сад в Нейвола был большой и совсем запущенный, так что вряд ли заслуживал такого громкого названия. Культурных насаждений там было очень мало, только у самого дома замечались остатки каких-то бывших клумб и жасминов, густо заросших лопухом и крапивой. Там бродили одичавшие кошки, и большие цыплята с ужасом выскакивали из зарослей и молча улепетывали на негнущихся голенастых ногах, как страусы в африканских саваннах. В отдалении от дома, так далеко, что даже звонкий голос тети Наташи едва доносился туда, стояло много каких-то сельскохозяйственных строений — сараев, сеновалов. Тихо и таинственно было в этих пустых сараях, и мы скоро нашли, что тут самое идеальное место для игры в палочку-стучалочку. Этой игрой мы тогда здорово увлекались, и Вадим, уже большой, шестнадцатилетний мальчик, тоже играл с нами. После счета: «между нами, дураками, есть один большой дурак» — жребий падал на кого-нибудь из нас, и тот сейчас же усаживался на старую скамью, где лежала палочка-стучалочка, и, честно закрыв глаза руками, — никто никогда не подглядывал! — начинал громко считать до пятидесяти. Все повышающимся голосом он кричал: «47, 48, 49–50! Иду-у-у!» — зычно неслось в лабиринте сараев. А ты лежишь ни жива ни мертва в какой-нибудь крапиве и даже дышать боишься... И вот приближаются медленные, неуверенные шаги, они останавливаются, опять шуршат, все ближе, ближе... сейчас найдет! Тихо... Осторожно поднимаешь голову и видишь над краем крапивы вытянутую шею и два глаза, настороженно шарящие по углам. Стоит ему повернуть голову еще немножко вправо, и все будет кончено. В этот леденящий душу момент вдруг слышится топот где-то в стороне, и стремительная фигура, с треском проламываясь прямо сквозь кусты, несется гигантскими скачками к заветной палочке. Ищущий вздрагивает всем телом и прыгает с места, как пантера,

чтобы в следующий момент, усиленно работая ногами, понестись в погоню. Как приятно видеть, что преследователь безнадежно отстает, что раскрасневшийся Тин первым подлетает к скамейке, хватая палочку и лупит победно по сиденью! И снова томительное ожидание... Ищущий после первой неудачи начинает заметно нервничать, его блуждающий взгляд бестолково снует все по тем же местам, он вздрагивает и судорожно оглядывается на каждый шорох. Но кругом ни души... Тишина, настороженная и пугающая, лишает его последних крупиц хладнокровия. Он топчется около скамейки, наконец, махнув рукой, решительно двигается вперед и скрывается из моего поля зрения за углом сарая. Тогда осторожно, ползком вылезая из своей засады, крадешься, согнувшись в три погибели, а потом как припустишься к скамейке! Крапива больно стегает по ногам, пораненный палец, кажется, сильно стукнулся о какой-то камень — все это ерунда! Главное, что палочка уже занесена над скамейкой, в то время как незадачливый преследователь только что выбегает из-за угла, — до чего же у него вытянутая физиономия!

Зато как тоскливо делается на душе, когда преследует неудача и шаги преследователя по какому-то сверхъестественному наитию направляются прямо к твоему убежищу, когда его страшный взгляд, как притянутый магнитом, устремляется на твое тело, такое беспомощное и как будто голое. Огонек познания вспыхивает в его глазах, и, вскрикнув «Верка!» — он, проворно перебирая ногами, несется к скамейке... Нет смысла даже пытаться его догнать, сконфуженно выползаешь из своего неудачного укрытия и плетешься к скамейке, на чем свет ругая себя за дурацкую идею спрятаться так глупо.

Так играли мы и в тот ветреный сентябрьский день, когда солнце, не грея, низко стояло на бледном небе, когда редкие листья летели над пустыми сараями, закручиваясь маленькими смерчами около скамейки, когда послышался вдруг голос тети Наташи. Казалось, ничего странного не было в ее зове, но что-то такое прозвучало в прежде беззаботном голосе, что мы все, не сговариваясь, бросились бежать к дому.

Не помню, куда девались остальные. Я вбежала на веранду, вошла в столовую... По ней бегала, ломая руки, бабушка. Она кричала: «Кормилец ты наш, на кого ты нас оставляешь!» Как странно звучит ее жалкий, срывающийся голос, повторяющий это непривычное слово «кормилец», как неестественно бабушка ломает руки, как непохожи эти растрепанные волосы на ее всегдашнюю гладкую прическу! Прежде такое спокойное, добродушное лицо все дрожит, искажается, глаза безумно

расширены и залиты слезами. Папа умирает! Кто сказал эти слова, не знаю, но они, как громом, меня поражают. Что такое умирает? Я стараюсь представить себе значение этого слова. Оно значит, что я никогда больше не увижу папу. Никогда не увижу! И бабушка не увидит. Поэтому она так странно выкрикивает это будничное слово «кормилец», даже обидно думать о папе как о каком-то кормильце — кого? Но почему же я не плачу? Ведь вон — все плачут. Кто все? Тетя Наташа вбегает и снова выбегает из комнаты, мамы не видно — она там, в закрытой спальне, там тишина, там умирает папа. У бабушки совсем безумный вид, она кружится по комнате, это даже смешно, как она натывается на стулья — как слепая. Мне смешно? Но ведь я же должна плакать — ведь я никогда не увижу папу. Я снова стараюсь представить себе это, но меня отвлекает смешное лицо Тина, который тоже не плачет, а с любопытством смотрит на бессмысленное кружение бабушки.

Проходит какое-то время, но совершенно не видно, чтобы что-то изменилось. Я все стою, мне стыдно, неловко, что я не плачу. Опять и опять заставляю себя думать о том, что больше не увижу папу, я стараюсь вспомнить его улыбку, его голос, которого я тоже больше не услышу — никогда не услышу! — и мне удастся наконец выжать из глаз несколько скупых слезинок. Это потому, что на какой-то миг мне стало жаль папу, так как, может быть, ему больно сейчас, может быть, страшно. Наверное, смерть — это что-то вроде отъезда — ведь папа часто куда-то уезжал. Но теперь он уедет и не вернется больше. Никогда. Слово лишено смысла, звучит пусто и фальшиво.

Никто не обращает на меня внимания. Я тихонько выхожу из комнаты, в каком-то болезненном напряжении иду по коридору, открываю дверь на маленькую веранду. Там на диване сидит плачущий Саввка, его обнимает тетя Женя — она тоже плачет и шумно сморкается. Тетя Женя видит меня не сразу, а тогда только, когда я сажусь рядом с ней на диван. Она обнимает меня и сильно прижимает к себе. Я неловко тычусь щекой во что-то твердое в ее боку, но мне приятно, что не видно моих глаз, которые, я чувствую, как-то ненормально вытаращены и никак не могут вернуться в естественное положение.

Вдруг Саввка отталкивает тетю Женю. Сжав кулаки, он вскакивает. Его лицо красно, в опухших глазах сверкают гнев и отчаяние, волосы взъерошены. «Вся Россия будет о нем плакать!» — кричит он. Я поражена этими словами — какой умный Саввка, какие слова он говорит. Он сам додумался до них, он понимает, а я вот глупая и, наверное, злая девчонка, раз мне не жалко папу. Вся Россия будет плакать. Какие взрослые, громкие,

торжественные слова — такие разве можно говорить вслух? И как это Саввка, такой же маленький, как и я, ведь мальчишка, а не стесняется, громко кричит такое. Мне стыдно и неловко. В то же время величие произнесенных слов горит каким-то пламенем в груди, и я чувствую, что Саввка сказал правду, — вся Россия будет плакать о нашем папе. Слезы душат меня, и я плачу.

Эти слезы сближают меня с остальными, и мне уже не стыдно смотреть в добрые, заплаканные глаза тети Жени, с жалостью косящиеся на меня из-под бородавок. И уже не странно слышать Саввкин вопрос: «Кто больше знаменит — папа или Толстой?» Конечно, Толстой, думаю я, это Саввка сильно хватил! Но и наш папа знаменитый писатель. И о нем тоже будет плакать вся Россия.

На другой день дом наполнился множеством людей — все говорили, сморкались, кашляли. На большой застекленной веранде на возвышении стоит черный гроб. В нем лежит папа. Руки сложены на груди, голова с рассыпавшимися волосами тяжело вдавлена в подушку. Лицо бледно, почти прозрачно, на губах застыла странная улыбка, — кажется, что папа видит что-то радостное, но что он может видеть, когда его глаза закрыты? Может быть, он видит сон? Я слышу, что и люди что-то шепчут об этой улыбке, и мне почему-то приятно, что папа улыбается — значит, ему не больно и не страшно было умирать. Я вскользь думаю обо всем этом, так как меня гораздо больше занимают действия незнакомого господина, который деловито суетится около гроба. У него в руках какое-то белое тесто, которым он вдруг начинает облеплять папино лицо. Он залепляет ему глаза, нос, рот. Ведь папа не сможет дышать... У меня двойственное чувство: я понимаю, что папе не нужно дышать, ведь он мертвый, а в то же время как-то физически ощущаю, как ему должно быть неприятно прикосновение этого холодного гипса, — я слышу, как это тесто называют гипсом, — на губах, на глазах, на всем побледневшем родном лице с загадочной, печальной улыбкой. И никого из родных нет, чтобы прогнать этого чужого, равнодушного дядьку, — мамы нет, бабушки нет. Но вот незнакомый господин снимает гипс с лица папы — он совсем затвердел, этот гипс. Я слышу, как он говорит кому-то: маска отлично получилась. Я с облегчением вижу, что лицо не изменилось: все та же легкая и нежная улыбка витает где-то около губ — так хорошо спит папа.

Потом похороны в маленькой часовне среди осеннего леса. На клумбах вокруг часовни поникли последние белые флоксы. Их тяжелый, приторно-сладкий аромат, с едва уловимой примесью тления, навеки остался в моей памяти, как сам дух кладбища —

обители смерти. Не помню лиц людей, не помню панихидного пения. Помню только, как меня подвели к гробу, стоявшему на возвышении, — я поднялась на ступеньку и увидела папу. Он лежал все так же, но лицо еще больше побледнело, и мне стало понятно, что это не сон — разве во сне так страшно бледнеют люди? — они не могут быть такими, окаменевшими. Я поцеловала папину руку — твердая, желтая, страшно холодная, прямо ледяная рука была так непохожа на его прежнюю — живую и ласковую. Мне показалось, что я поцеловала камень. Все это было мучительно непонятно, но я не плакала.

Бедная бабушка, поддерживаемая тетей Наташей, трясущимися, неровными шагами поднялась на возвышение и вдруг упала навзничь, и люди зашумели, заплакали навзрыд. Запах ладана, смешавшись с запахом флоксов, тянулся между печальными деревьями, тихо ронявшими желтые слезы своих листьев на непокрытые головы людей, на черный гроб, на который вдруг надвинули свинцовую крышку. И вот опять все как будто по-прежнему. Но Саввка перестал играть с нами. Вадима не было видно совсем. Мы с Тином были как-то странно одиноки. В доме сделалось пусто, скучно. Мелькали какие-то незнакомые люди, с обидным сочувствием и любопытством смотрели на наши здоровые, румяные лица, на которые мы старались напустить грустное выражение. Погода стояла все такая же солнечная и ветреная, и, сидя на ветвях рябины, мы раскачивались, как птицы, глядя с высоты на обнаженные поля с пожелтевшей травой на межах. Высокое бледное небо чуть зеленело у горизонта, ветер свободно проносился по опустошенным осенью полям, приносил с засохшего жнивья клейкие нити паутины, которые летели, поблескивая и ломаясь в воздухе, и садились куда попало — даже на лицо и на волосы. Нам не было ни скучно, ни грустно. Раскачиваясь на ветвях, мы пели наши любимые песни: «Шумел, горел пожар московский, дым расстился над рекой» и «... Карета к дому подкатила, колеса по земле стучат...».

Потом мы бродили по знакомому лабиринту сараев, смотрели на опустевшую скамейку, где все еще валялась забытая палочка-стучалочка, не тронутая с того самого дня, когда странно звучавший голос тети Наташи оторвал нас от увлекательной игры. Один раз мы забрели даже в рощу и издали смотрели на часовню, где «все еще умирали на сломанных стеблях последние осенние цветы».

Тин сказал: «Здесь двигалось печальное шествие!» — и мы захохотали, очень довольные, что сумели выразиться так красиво и совсем по-книжному.

Потом, помню, было траурное собрание в большой гостиной

— много людей, среди которых не было ни мамы, ни бабушки. Все сидели молча и не шевелились. Комната освещалась лампой, стоявшей на столе, — ее свет, затемненный абажуром, падал на листки бумаги, слегка дрожавшие в руках Фальковского, но оставлял в тени его лицо.

Фальковский читает: «...тяжелый стон пронесся над пустынной и черной землей — рыдайте и плачьте, люди, — я умер! Я — умер! Все проваливается в зияющую бездну. Ледяной ветер безграничных пространств сметает равнодушно все живое — все живое, стеная и кружась, исчезает с лица земли — плачьте же и стенайте, люди, — я умер! Завещаю вам — поставьте гроб с моим телом на высокую башню. Покройте ее черной тканью — пусть до самой земли падают ее тяжелые, черные складки. Я буду один смотреть мертвыми глазами в черное небо, и только звезды и ветер будут видеть мое мертвое лицо. Я умер — зачем теперь рыдания и слезы? Все кончилось, конец всему!..»

Я сжимаюсь на своем стуле. Непонятные, страшные слова падают в душу, давят холодными глыбами сознание. Почему же не рушится мир? Почему эти люди не вскакивают, не бегут, не выносят гроб на башню, на башню нашего дома на Черной речке, почему не обтягивают черной тканью дом?

В моем сознании возникает грозное видение нашей башни — тяжелые складки черной ткани падают до земли. Наверху стоит гроб, и этот ледяной ветер свистит и рыщет вокруг него, шевелит волосы на папиной мертвой голове, ощупывает ледяными пальцами его бледное лицо, плотно закрытые глаза, страдальческую улыбку на губах. Идите же, бегите скорее, — думаю я. Но ничего не происходит. Мир не рушится. Люди сидят, тихо сморкаются и слушают этот дикий крик корчащейся в смертельном страхе человеческой души. Таинство и ужас смерти на мгновение касаются ледяной рукой моего сердца — стало трудно дышать. И в яркой вспышке сознания — пронзительная жалость к папе и бессильное возмущение равнодушием смерти. Бедный папа, он думал, что с его смертью рухнет мир, а он все стоит как ни в чем не бывало, и вот кончится сейчас чтение, все встанут и спокойно пойдут ужинать. Будут жевать, глотать. И потом спокойно лягут спать, а завтра опять будет солнце, и ветер — веселый и свободный — будет беспечно носить паутинки, и нет ему дела до того, что вот умер еще один человек. Где же правда и справедливость, для чего мы живем? И что будет, если умру... я?

Но где же была все это время наша мама? Я помню горе других — слезы бабушки, ее молитвы, помню, как она изменилась после папиной смерти. Она почти не выходила из своей комнаты, нас перестала замечать совсем. Помню слезы тети Наташи,

которая все же, единственная в доме, сохраняла хладнокровие, заботилась о нас, о нашей еде, о сне — все хозяйственные заботы теперь целиком лежали на ней.

О маме я не помню ничего. Ее не было видно. Где она была, где запиралась, где бродила в одиночестве — не знаю. Только Саввка, которому тогда было десять лет, мог немного понять, если не разумом, то чувством, ту крошечную тьму, в которую погрузилась душа мамы, нашей строгой, энергичной, всегда деятельной мамы. Из ее жизни как будто вынули тот стержень, на котором она держалась, и она рухнула бесшумно и превратилась в грудку жалких обломков. Мы были слишком малы, глупы и ничтожны в своем бессилии заполнить страшную пустоту маминой жизни. Она металась в тоске. Мы остались совсем одни — бабушка, ставшая беспомощной, как ребенок, тетя Наташа, мы — трое детей. Жизнь как будто продолжалась, но над ней висело невидимое присутствие мамы — страшной и бесчувственной ко всему под гнетом своего горя. Никто не мог разделить с ней этой непосильной ноши, и мы не подозревали, что наша мама находилась тогда на грани безумия или самоубийства. Я думаю, что один Саввка удержал ее от этого, — слабый и беспомощный сам, он удержал маму силой ее любви к нему.

Для бабушки со смертью папы жизнь кончилась совершенно. В ту ночь, когда папа лежал мертвый в постели, бабушка пыталась покончить самоубийством. Она обвязала шею своим длинным шарфиком, привязала его к изголовью кровати, подогнула ноги и повисла в петле. Тетя Наташа вошла в спальню, когда бабушка уже потеряла сознание. Тетя Наташа перерезала ножницами шарф, подняла и положила бабушку на диван и привела ее в чувство. С тех пор бабушка замолчала. Совсем седая, тихая, вся в черном, она не отходила от икон, стоя перед ними на коленях и прося бога, чтобы он поскорее взял бы ее к себе и помог свидеться с ненаглядным Ленушей. Тетя Наташа ухаживала за ней, чуть ли не силой заставляла ее отойти от икон, кормила ее, одевала. И бабушка ей одной подчинялась, покорно ела что-то, молча выслушивала ее увещания.

Тетя Наташа одна не потеряла голову и со своей неизменной практичностью ведала всем хозяйством нашей искалеченной семьи. Она варила, убирала, стирала, заботилась о нас, делала все по дому. Не знаю, что бы мы делали без нее.

Мы не вернулись на Черную речку, но и не остались в Нейвола. Подчиняясь маминому безумному желанию уехать куда-то, скрыться подальше от тех мест, где она жила с папой, мы переехали в глубь Финляндии, на Сайменский канал, соединяющий Финский залив у города Выборга с бесчисленным

множеством озер, объединенных общим названием озера Сайма.

Это была крошечная пароходная станция с красивым именем — Раухаранта. Ехать туда надо было на пароходе из Выборга. Небольшой городок, тихий и чистенький, кажется нам огромным и шумным. Мы с Тиним ведем себя неприлично в трамвае — то прилипаем к окну, то отрываемся от него, кричим в страшном ажиотаже на весь вагон, наполненный удивительно благопристойными и чем-то недовольными финнами. «Тетя Наташа, у него, наверное, живот болит?» — громогласно возвещает Тин, показывая пальцем на почтенного финна в шапке с ушами и с почерневшей трубкой во рту. «Тише!» — в ужасе шипит тетя Наташа, дергая его за рукав, а в это время я нарушаю священную тишину вагона возгласом: «Пароход! Пароход! Он прямо на тротуаре!» — «Где, где?» — орет Тин, и бедная тетя Наташа не знает, кого раньше одергивать, на кого шипеть. Мы бросаемся к противоположным окнам трамвая, наступаем на чьи-то ноги, расталкиваем сидящих и смотрим, разинув рты, на пароход, который стоит, конечно, вовсе не на тротуаре, а нормально, у пристани, только очень близко к домам. За ним, кажется, море, но вид на него закрыт с двух сторон холмистыми берегами, а впереди — лесом труб, мачт, парусов.

Тетя Наташа довольно неделикатно, но с явным облегчением выталкивает нас из трамвая, и мы идем прямо к пароходу. Вблизи он кажется нам еще больше и красивее. Мы топчемся на пристани, пока тетя Наташа покупает билеты, изредка выразительно грозя нам зонтиком, когда мы слишком близко подходим к краю. Черная вода довольно низко. По ней плавают радужные пятна, колыхается на мелких волнах огрызок яблока, и пустая бутылка плавает, как человек, по плечи погруженный в воду. Все это стиснуто в узком пространстве между пристанью и бортом парохода и совсем не похоже на море, скорее на какой-то грязный бассейн, куда для чего-то поставили пароход. Но вот мы уже идем по мосткам — высоко и жутковато, — хоть оно и не похоже на море, но неприятно все же упасть в эту узкую, черную щель.

Очутившись на пароходе, мы метнулись было к борту, чтобы посмотреть, есть ли там пресловутые иллюминаторы, но тетя Наташа энергично усадила нас, вернее, пригвоздила к скамейке, несмотря на мольбы Тина — взглянуть на капитанский мостик! Заглянуть в машинное отделение! Только дотронуться до спасательного пояса! Тетя Наташа, свирепо вращая глазами, своей железной рукой удержала его в повиновении. Все равно было ужасно интересно, как пароход задрожал, мутная вода с огрызком вдруг закипела, бутылка захлебнулась и нырнула под

борт, щель стала расширяться, мокрая черная стена пристани с зелеными волосами водорослей, то обвисавшими, то расчесываемыми водой, стала отдаляться, и вот мы уже плывем мимо лодок, барок, шлюпок, вот они уже закачались на волне, поднимаемой нашим пароходом, вот перед нами уже весь бедный городок с островерхими крышами, сразу утративший свое великолепие.

Но открытого моря мы так и не увидели. Берега сузились, мы куда-то заворачиваем — это просто река с неестественно ровными, как срезанными по нитке, берегами. Незаметно они снова расступаются, и мы плывем посередине большого продолговатого озера с темной, зеркально гладкой поверхностью. Вокруг тишина. На берегах круглые большие камни, они отражаются в воде вместе со своим мохом и даже с маленькой березкой, каким-то чудом выросшей на одном из них. За камнями редкие елки, скалы, сглаженные будто гигантским утюгом, — они серые, чуть розовые, черные. Все отражается четко, до мельчайших подробностей в воде, так что все равно, куда смотреть — в воду или на берег. Но вот отражение вдруг поднимается, снова опускается, опять поднимается, все быстрее и быстрее, и волна с шипением ударяется о камни, — это наш пароход разбил чудесное зеркало.

Вдали виднеются какие-то черные вертикальные черточки, будто бы палочки торчат из воды. Мы долго не можем понять, что это такое, пока одна из них не приближается, и мы видим, что это уточка — гагара, объясняет нам кто-то. По мере приближения парохода они бесшумно ныряют и исчезают на поразительно долгий срок, чтобы вынырнуть совсем в другом месте, чем то, куда устремлен наш взор. Некоторые подныривали и проплывали под днищем парохода — просто удивительно, как они могут так долго не дышать!

И опять берега сужаются все больше и больше — впереди что-то вроде стены, но пароход идет прямо на нее, — напрасно мы вертим головами, нигде не видно продолжения воды. Вот стена совсем близко, в ней ворота — большие, черные, тяжелые. На берегу какой-то домик, человек выходит, трогает колеса, что-то тарыхтит, приходит в движение. И вдруг мы замечаем, что ворота начинают открываться медленно и плавно. Наш пароход замедляет ход, осторожно въезжает в них и оказывается в каменном глубоком ящике. У ящика мокрые, покрытые зеленой плесенью стены, — мы стоим как на дне глубокого колодца. Стоим неподвижно, но вода кипит вокруг бортов, и мы замечаем, что стены колодца опускаются — нет, это мы поднимаемся! — приближаемся к поверхности, еще немного — и мы смотрим

поверх стены. Вот куда спряталась река, — оказывается, она спокойно продолжается по ту сторону стены. Мы медленно поднимаемся до ее уровня, вода вокруг парохода перестает кипеть, плавно открываются другие ворота перед носом парохода, и он выезжает как ни в чем не бывало из каменного ящика. А сзади так странно видеть внизу реку, по которой мы только что приплыли, — просто чудеса!

Это и были те знаменитые шлюзы, о которых нам так много рассказывали! Мы хорошо изучили потом их механизм, так как станция Раухаранта находилась недалеко и мы часто бегали туда смотреть на пароходы. Громкое название «станция» мало подходило к Раухаранте, так как это была просто деревянная пристань, и пароходы останавливались только тогда, когда желающий ехать долго и старательно махал рукой. Пристань была установлена только для одного-единственного дома, который возвышался несколько в стороне, наполовину скрытый высокими елями.

В этом большом, просторном доме мы занимали всего четыре комнаты и кухню. Мамина комната, обращенная на юг, была самой большой и светлой. Она же служила маме и спальней, и там стояла совершенно изумительная кровать — она была такой ширины и мягкости, что на ней свободно умещались все мы вместе с мамой. Иногда мама приглашала нас поспать с нею, и это было настоящим праздником — можно было лечь во всех направлениях, вдоль и поперек, всюду было мягко и роскошно тепло под перинами и пуховым одеялом необъятной величины.

Пока еще стояла хорошая погода, мы шныряли по саду, где густо разрослись серебристые пихты, — широкие лапы их ветвей до половины закрывали еле приметные дорожки. Были еще там яблоньки со множеством красненьких яблочек, к сожалению, не очень-то вкусных. Зато тетя Наташа варила из них вкусное варенье. Я находила все же, что яблочки не заслуживали названия «райских», — уж в раю могли бы быть яблоки послаще этих!

Сад скоро переходил в совсем уж дикий и дремучий лес, куда нам запрещалось ходить. Кому принадлежало это имение, этот сад, дом, куда запропастились владельцы — нам было решительно все равно. Мы быстренько облазали все закоулки, испробовали в новых условиях свои излюбленные игры и решили, что самым увлекательным развлечением является безусловно катание на ветвях пихты. В центре сада росла группа этих могучих деревьев, так густо посаженных, что их ветви переплетались и образовывали многоярусную крышу. Если приподнять нижние ветви и влезть под них, то около ствола обнаруживалось уютное убежище, защищенное со всех сторон от

ветра и нескромных взоров. Там мы проводили многие часы своего досуга, рассказывали друг другу всякие вымышленные истории про запертую и потому таинственную часть дома. Насидевшись под деревом, мы приступали к катанию на его ветвях. С порванными штанами, с руками, липкими от смолы, мы лезли вверх, не обращая внимания на дождь колючих игл, сыплющихся за шиворот. Достигнув вершины, мы раскачивались на гнувшихся ветках, а потом выпускали их из рук и падали вниз. Ветви упруго поддавались, тело проваливалось, переваливалось с одного яруса на другой, опускалось все ниже и ниже, пока мягко не ложилось на толстую подстилку из хвои. Это мягкое и плавное падение было похоже одновременно на полет и на ныряние в густую темную воду, отчего захватывало дух, а сердце приятно замирало.

В запертой половине дома были высокие комнаты с мебелью, покрытой чехлами. Изогнутые ножки кресел слабо отражались на пыльном паркете, который страшно скрипел под ногами. Высокие двери с медными позеленевшими ручками отворялись с трудом, как бы нехотя. Мы входили в большую залу. В углу за пыльным роялем лежала куча яблок, распространявших сладкий, чуть пахнущий тленом запах — странно знакомый и загадочный. Пока тетя Наташа набирала в подол яблоки, почему-то оглядываясь и шикая на нас, хотя в зале никого не было, мы забирались на вертящийся стульчик перед роялем и по очереди вертелись, поднимаясь все выше на винтовом стержне, — стульчик жалобно скрипел, эхо отдавалось от высоких стен и, вздыхая, замирало где-то под диваном. На стене против окна висела большая картина. На ней женщина в длинном черном платье. Она прижимает к губам платок, как бы заглушая готовый вырваться стон. Ее большие глаза устремлены на меня — в них что-то такое мучительное, как будто бы сама ее душа кричит и корчится в безысходном горе. Я отворачиваюсь, чтобы не смотреть, так как чем я могу помочь ей? Она похожа на бабушку, когда она молится в своей комнатке перед иконами, и тоже вот так смотрит на них с каким-то немым укором, и тени от лампадки ходят по ее измученному лицу, а в глазах то же безысходное горе, та же безумная мольба о чем-то.

Бедная бабушка, она недолго прожила с нами в Раухаранте. Она просила отвезти ее на Черную речку, и мама уступила, хотя кто-то должен был находиться с нею, чтобы ухаживать и кормить, и, кажется, тетя Наташа, насколько я помню, поехала с ней. Бабушка прожила два или три месяца во флигеле, но все дни проводила в большом доме, в папином кабинете. Она носила ему туда чай, читала ему газеты, разговаривала с ним. Тетя Наташа

рассказывала, что бабушка любила сидеть перед сном в кресле, перед камином. Там и нашла ее однажды утром тетя Наташа — бабушка сидела, как живая, но руки ее были холодны, и сердце не билось. Она умерла ровно через год после смерти папы. К тому времени свинцовый гроб с телом папы был перевезен из Нейвола и похоронен на маленьком кладбище около церкви. Церковь стояла на горе — от нее по широкой просеке открывался вид на море. Это кладбище и церковь были построены в память умершей жены одного петроградского богача. Великолепный памятник этой женщине возвышался в стороне от церкви, на склоне горы. Это была огромная глыба гранита, а на ней в натуральную величину сидела в кресле красивая бронзовая женщина и задумчиво смотрела на море. У ее ног валялся плюшевый мишка, тоже из бронзы. Мы, еще когда были маленькими, часто ходили на это кладбище и в церковь с бабушкой. Мы лазали по памятнику женщине — я думала, что это памятник вообще Женщине, — пытались поиграть с мишкой, но он был крепко приделан к граниту. Недалеко от этого памятника похоронили папу, на могиле поставили простой черный крест и камень с надписью, а вокруг могилы посадили шиповник из нашего сада.

Бабушку похоронили уже вне ограды — не знаю почему. Это был редкий сосновый лес, земля сплошь покрыта кустиками черники. Тетя Наташа одна подходила к могиле, ставила там букет шиповника из сада и подолгу, тяжело вздыхая, смотрела на деревянный крест. А мы бегали вокруг и старались найти чернику — впрочем, ягод почему-то не было.

А тем временем на Сайменском канале наступила суровая морозная зима. Канал замерз, по нему был проложен санный путь — обыкновенная дорога для крестьянских саней, только с той разницей, что по краям ее торчали палки с пучком соломы или просто воткнутые в снег еловые ветки, — это были вехи, обозначающие правильный путь и предостерегавшие путника об опасных, скрытых под снегом полыньях.

И по этой ледяной дороге отвезли однажды маму — бесчувственную, в жестоком жару — в больницу, в Выборг. Она заболела испанкой — страшным гриппом, который особенно свирепствовал в те годы. Совершенно одна — кто же мог навещать ее в такой глуши? — среди молчаливых финских врачей и сестер, мама целый месяц находилась на краю смерти. Она сгорала в нестерпимом жару, и ее вывозили на балкон, на тридцатиградусный мороз. Мама металась и рвалась с кровати, а бесстрастные финки привязывали ее смиренной рубашкой и равнодушно уходили с балкона. Мама билась, звала папу и Савву, плакала в безумном отчаянии, и слезы замерзали у нее на

подушке. Когда, обессилев, мама теряла сознание, приходили сестры и, убедившись, что мама еще дышит, ввозили обратно в палату.

В те редкие минуты, когда сознание возвращалось к ней, мама просила бумагу и карандаш и исписывала целые страницы. Это были письма десятилетнему Саввке, в которых она изливала свою любовь к нему, раскрывала перед ним весь мрак своего одиночества перед лицом смерти и навсегда прощалась с ним. Что мог понять глупый, маленький Саввка и как страшно одинока была наша мама, если не было у нее ни одного родного человека, кроме маленького сына!

Понимали ли мы, какая трагедия разыгрывалась в выборгской больнице? Знали ли мы, что наша мама находится на краю смерти, горевали ли об этом, представляли ли себе, что будет с нами, если мама умрет? Конечно, мы знали, что маме плохо, конечно, желали, чтобы она выздоровела, но все это было так неглубоко, так по-детски. Какие-то люди приходили, тетя Наташа шепталась с ними, пожимая многозначительно плечами и умолкая, когда кто-нибудь из нас проходил мимо. Я понимала, что говорят о нас, детях, жалеют, сочувствуют, мне делалось неловко и стыдно чего-то, и я поспешно проходила, чувствуя, что мне смотрят вслед.

Но вот неловкость исчезла, растерянный и жалкий вид тети Наташи сменился на радостный, улыбки появились на всех лицах — мама выздоравливает! Мы снова занялись своими делами, чувствуя невыразимое облегчение и буйную радость, звонкий голос тети Наташи снова стал выводить: «Любовь не птичка, не ручная», опять Маркиз вышел на крыльцо и залаял на ворон, насмешливо пожимавших плечами на покрытых инеем ветвях елей, — они злорадно косились на пса и сыпали ему на морду струйки игольчатого, радужно сиявшего инея, — все равно не достанешь! И наступил наконец тот день, когда на ледяной дороге показались сани, а в них, закутанная в шубы, платки и огромную папину меховую доху — мама! Ее вносят в дом, раскутывают долго, и вот мы обнимаем, целуем ее, тормошим, заглядываем в глаза. Как она изменилась! Худенькая, стриженная, как мальчик, она ходит по комнатам и улыбается. В ее взгляде какая-то новая мягкость, она задумчиво и ласково всматривается в нас, как будто бы приехала из далекого путешествия и теперь замечает, как выросли и изменились дети. У нее радостно расширенные детские глаза, она такая милая, добрая, так весело засмеялась, когда я бросилась подать ей чашку и со своей всегдашней неуклюжестью растянулась на полу, споткнувшись о ковер. «Какие у тебя стали длинные волосы, — говорит мама,

ласково кладя свою тонкую исхудавшую руку мне на голову, — наверное, тебе неудобно, жарко от них — хочешь, острижем? Смотри, какие у меня, — удобно, легко, причесывать почти не надо: раз-раз гребенкой — и готово!» Я выражаю буйный восторг, так как от души ненавижу свои длинные и густые волосы, с которыми так много возни, но тут вмешивается тетя Наташа и умоляет «не безобразить девочку». Мама подмигивает мне, дескать, не надо настаивать, потом увидим, и стрижка откладывается на неопределенное время. А у мамы совсем коротенькие волосы, — вернее, какой-то смешной ежик, и она подвязывает себе локоны на тесемочке, когда надевает шляпку, — мы смеемся и трогаем мамину круглую колючую голову — совсем как ежик! Но очень скоро волосы отрастают и начинают виться крупными кольцами. «Единственная хорошая вещь, которой наградила меня испанка», — говорит мама. Вьющиеся волосы всегда были маминой мечтой.

Когда я потом читала Анну Каренину, я поняла, на кого была похожа наша мама: на Анну после болезни. Кажется, я в первый раз замечаю, какая мама красивая, как ей идут темные непривычные кудри, какое у нее белое, тонкое лицо, какие большие черные глаза под полукружьями тонких, будто выведенных кисточкой бровей. И пахнет она совсем особенно — чуть-чуть духами «Шанель № 5», чуть-чуть папиросами и еще чем-то — тонким и неуловимым, чему нельзя найти определения. Это просто «мамин запах».

Стрижка моих волос отложена до рождественских праздников, когда у наших соседей Тумаркиных состоится концерт, в котором мы все будем участвовать. Тумаркины были очень богаты. У них был большой дом с неслыханной роскошью того времени — центральным отоплением. По всему дому сияло электричество, стояли какие-то экзотические пальмы в кадках в специально устроенном зимнем саду, в комнатах и на лестницах лежали ковры, всюду висели картины. Гувернантка-немка воспитывала двух детей Тумаркиных — Виталия постарше и маленькую Тусю, у которой почему-то всегда расстегивались штанишки, и она просила Саввку или Тина: «Застегни мне, позалуйста, фтанифки!»

У гувернантки был необычайно высокий бюст, подпертый корсетом чуть ли не до подбородка. Он образовывал площадку, и Саввка острил, что это сооружение очень практично — можно поставить чашку с чаем, как на поднос. У немки действительно на площадке всегда виднелись крошки и остатки обеда. Тумаркины обладали даже автомобилем и собственным учителем рисования. В большом ателье со стеклянной крышей устраивались лекции по

живописи и уроки рисования для всех — детей и взрослых. Ателье было заставлено мольбертами, гипсовыми бюстами, барельефами, изображавшими фрукты и цветы. Предполагалось, что Виталий и взрослая дочь Тумаркиных имеют выдающийся талант к живописи, блеск которого, к всеобщему смущению, быстро померк, когда учитель имел неосторожность пригласить нас к участию в рисовальном конкурсе. Саввка тут же заткнул за пояс этих художников, очень хорошо нарисовав голову Юлия Цезаря, а мой барельеф с кистью винограда был признан учителем лучшим, и я получила несколько кислых комплиментов из уст самого господина Тумаркина — мецената и покровителя искусства.

Впрочем, он был действительно весьма галантным и обворожительным человеком, любил общество, разные культурные развлечения и был большой мастер на всякие тонкие затеи, вроде домашнего театра и вокально-музыкальных выступлений.

Гвоздем концерта должна была стать мимическая сценка под названием «Охота в девственном лесу». Учитель рисования, он же режиссер и хореограф, еще задолго до спектакля взялся за разучивание ролей. Мальчики — Саввка, Тин и Виталий — изображали охотников. Старшей дочери Тумаркиных, унылой длинноносой девице, давно учившейся в балете, предназначалось самое ответственное выступление — танец умирающего лебедя, подстреленного по ходу действия храбрыми охотниками. Я изображала оленя, маленькая Туся какую-то птичку — вальдшнепа, что ли.

Велико было мое смущение, когда учитель заставил меня выбежать прямо как я была — в валенках — на середину комнаты. Нужно было как можно грациознее пробежаться, остановиться в испуганной, но полной изящества позе, поднять гордую голову, увенчанную — надо понимать! — великолепными рогами, понюхать воздух и, почуя опасность, ускакать, скрывшись последним, особенно ловким прыжком за роялем. Увы, я с ужасом почувствовала, что никогда не смогу побороть свою застенчивость, — валенки прилипали к полу, движения были робки и неуклюжи, и даже бежала я, как-то нелепо подпрыгивая, что скорее напоминало скачку испуганного медведя, чем грациозные прыжки оленя. Учитель, однако, похвалил меня и сказал, что дело пойдет. Действительно, понемногу я перестала так дико стесняться, и после бесчисленных репетиций мои движения стали более естественными.

Наконец долгожданный вечер настал. Меня отводят в спальню, где переодеваются девочки. У меня завиты волосы,

распущены по плечам, я страшно волнуюсь и краснею. Мой костюм состоит из коричневых подштанников г-на Тумаркина, которые доходят мне до подмышек и выгодно подчеркивают стройные линии моих ног, — по крайней мере мне так кажется, а верхнюю часть туловища обтягивает коричневая же майка с длинными рукавами. Когда я одета и обута в черные туфли — надо понимать, олени копыта, — мне на голову водружают великолепные ветвистые рога, которые слабо колышутся при каждом движении и возбуждают во мне чувство какого-то сладкого замирания всего существа.

Одевшись, мы все столпились в дверях большого зала, где нас не могла видеть публика, занявшая места за занавесом. Гувернантка уселась за рояль, скрытый на этот раз за огромной елкой, и начала играть что-то лирическое, что должно было создать впечатление прекрасного летнего утра в девственном лесу. Под чириканье каких-то птичек — их довольно удачно симитировал наш режиссер, умевший здорово насвистывать, — я должна была выбежать на сцену. Но занавес за что-то зацепился и все не хотел раздвигаться, как ему было положено, и учитель должен был повторить свои трели, пока наконец мне был подан знак, и меня довольно неделикатно вытолкнули перед огни раппы. Потрясывая рогами, я плавно выбежала на середину зала, насторожившись и раздувая ноздри, — моя собственная актерская находка! — повела головой во все стороны, потом закинула рога за спину и прогарцевала вокруг сцены. Еще остановка, приноживание и элегантный прыжок под елку, уже вне поля зрения восхищенной публики, наградившей меня дружными аплодисментами. Вслед за мной выбежали охотники с ружьями, патронташами и прочими охотничьими доспехами. Они подкрадывались, картинно заслоняя глаза рукой от света, и, нагнувшись, рассматривали следы оленя. Меня они так и не заметили, но со страшным грохотом разрядили свой арсенал в Тусю-вальдшнепа, которая тут же упала, «трепетую в камышах», как я подумала, сидя под своей елкой. Но тут внимание охотников и публики было отвлечено появлением грузного лебедя, который довольно неосмотрительно выбежал, вернее, выпорхнул на сцену, прямо на изумленных таким везением охотников. Они не замедлили пристрелить его, а потом деликатно отошли в сторону, предоставив ему спокойно умереть от ран. Однако лебедь сразу не умер, а очень долго кружился, содрогался и взмахивал руками, то бишь крыльями. Наконец он, трепыхаясь, растянулся на полу, склонив голову и руки на невероятно вытянутую вперед ногу, — вторая нога осталась где-то далеко позади, слегка дергаясь в предсмертной конвульсии.

Когда агония лебедя прекратилась, охотники, с поникшей головой наблюдавшие кровавое дело рук своих, радостно подбежали к бездыханному труп и стали поднимать его, чтобы взвалить на носилки и начать триумфальное шествие. Но не тут-то было! Они были слишком малы и бессильны, чтобы проделать такой нечеловеческий труд, — после долгих, но бесплодных усилий труп пришлось встать самому и, инсценировав еще ряд предсмертных конвульсий, повалиться на носилки, которые затрещали и прогнулись до самой земли. Сгибаясь под тяжестью своей жертвы, охотники потащили ее вокруг комнаты и под звуки лесного рога и других труб благополучно вынесли за дверь к большому облегчению публики, видимо опасавшейся, как бы brave стрелки не уронили своей добычи. Зато потом им очень хлопало, и каждый из мальчиков получил из рук господина Тумаркина настоящие часы с надписью, выгравированной на задней крышке: «За отличную стрельбу».

Весело и интересно было у Тумаркиных, мы очень любили ходить к ним и проводить в их доме целые дни. Домой мы возвращались по дороге с вехами, проложенной по каналу. Мы мчались на лыжах — два мелких шажка, оттолкнуться палками, и длинное скольжение вперед, потом опять разбегаешься, толчок, и опять летишь по гладкой дороге. Звезды, как маленькие живые ежики, шевелятся на черном небе, синие тени лежат от сугробов, по сторонам стоит в молчании черный лес. Жутковато там должно быть сейчас, — может быть, волки следят за нами из кустов, переступая замерзшими лапами по снегу. Пар выходит из их оскаленных морд, от шкуры пахнет псиной и морозом, а голодная слюна падает капельками на снег и делает в нем маленькие дырочки. Белый клык, Лобо, Король степей, Желтая волчица — все волки из прочитанных книг собрались за елками и следят за нашим бегом по замерзшей реке... Но какое нам дело до всех волков мира, когда впереди скачет Маркиз и так оглушительно лает, что иней, наверное, сыплется тонкой струйкой на спины притаившихся зверей, шерсть на их загривке поднимается от страха, когда палки свистят, вонзаясь в утоптаный снег, лыжи ритмично постукивают, а мы все дружно воем, изображая волчью стаю в погоне за добычей. Весь этот шум нарушает торжественное безмолвие леса, эхо перекачивается среди застывших берегов — каждый звук как бы отдельно от других висит в морозном воздухе, и даже звезды жмурятся и пританцовывают от неудержимой радости жизни.

Однажды нас повезли на санях в Выборг — там шел фильм «Тарзан от обезьян». Это было наше первое посещение кино, но надо было слышать, как мы раскритиковали фильм, или, как

раньше говорили, — «фильму». Мы прекрасно представляли себе Тарзана — нашего любимейшего из героев. Его великолепная фигура, атлетические мускулы, фантастическое умение лазать по деревьям — все это было нашим идеалом. Недаром мы воспитывались в атмосфере настоящего культа физической силы, красоты и ловкости.

Роль Тарзана в фильме исполнял немецкий актер Гарри Лидтке, пошлое и слащавое лицо которого, кокетливый взгляд, а главное, жирное тело без всяких признаков мускулатуры вызвали взрыв возмущения с нашей стороны. Мы презрительно фыркали, когда актер, обмотанный вокруг толстых бедер леопардовой шкурой, робко приближался к сильно наклоненному, почти лежащему дереву и начинал, осторожно балансируя, идти по нему вверх. Милосердная камера вовремя прекращала съемку, а следующий кадр показывал уже какого-то циркового акробата — наверняка не Гарри Лидтке, — как он, где-то очень далеко, чтобы нельзя было разглядеть, катается и кувыркается среди деревьев на обыкновенной трапеции. И они думали, что мы поверим, как будто это Тарзан, схватившись за лиану, перелетает с дерева на дерево... смешно! Точно так же нас не могли обмануть толстые решетки, которые Гарри Лидтке — с его-то мускулатурой! — разрывает без всякого усилия, только демонстративно морща брови, как будто это были вареные макароны, а не железные прутья. А это разве лев — старый, шатающийся, как под наркозом! Актер с опаской приближался к нему, намереваясь, видите ли, вступить с ним в бой... голыми руками! В следующий момент показано, как Тарзан «разрывает» льву пасть, тот падает с деревянным стуком на пол и застывает в неправдоподобно короткий срок — делается твердым и негнущимся, как доска. Тарзан храбро ставит свою жирную ногу на его спину — видно даже облачко пыли от удара ноги — и бьет себя в грудь кулаками. Его рот открывается — зритель должен догадаться, что в этот момент он потрясает джунгли своим победным криком. Мы глубоко разочарованы представлением...

Суровая финская зима приближается наконец к концу. Санная дорога, проложенная по каналу, объявляется небезопасной для езды, так как на ней появились полыньи. Рассказывают страшные истории про неосторожных людей, которые все еще рисковали ездить по ней и, не заметив опасности, проваливались в воду с лошадьми и саними. По ночам меня преследует видение черной воды, которая коварно заманивает людей и животных в свою бездонную глубину. Они не замечают предупреждений, не видят вех, отмечающих полыньи, не слышат тревожного храпа лошади. Кромка подтаявшего льда проваливается вдруг, черная вода

сжимает людей в своих ледяных объятиях, они кричат, захлебываются, и их затягивает под лед... Только на снегу остается след саней, жутко обрывающийся у края полыни, да по снова успокоившейся воде плавает какой-нибудь кнут или шапка — все, что осталось от человека и животного.

И вот настал чудесный солнечный день. На берегах уже почти нет снега, дорожки подсыхают, а на канале все еще лед — страшный, вздувшийся, почерневший. На ледяной дороге стоят сверкающие лужицы талой воды, темнеет лошадиный навоз, веи покосились, некоторые совсем упали и лежат, глубоко вдавившись в снег. По берегам виднеются люди — они прислушиваются и чего-то ждут. Мы тоже, конечно, толпимся около нашей пристани. И вдруг к нам доносится далекий пароходный гудок. Красивый звук заставляет сладко задрожать все мое существо, что-то особенное чудится мне в нем — как будто бы распахнулось окно и свободный ветер дальних просторов коснулся лица свежим своим дыханием. Так и полетела бы вслед за этим звуком туда, где блещут зеленые морские волны, где летают чайки, куда манят миражи неизведанных стран и необыкновенных приключений.

Многоголосая сирена ревет снова, на этот раз гораздо ближе, — звук перекачивается по берегам. Он не звучит уже призывно и торжественно, как в первый раз, — он легкий и весел, и берега играют с ним, как с мячиком, ловко перекидывая друг другу. Уже слышно пыхтение машины, треск ломающегося льда, музыка и веселые крики людей. Из-за поворота показывается пароход. Он высокий, белый, украшенный флагами, усыпанный людьми, которые кричат и машут платками. Ледокол медленно наезжает носом — он у него, оказывается, совсем плоский — на лед, он трескается, огромные куски отламываются, переворачиваются, сверкая на солнце, пароход подминает их под себя, неудержимо двигаясь вперед, а за ним остается широкая полоса веселой, голубой воды, в которой танцуют разбитые льдины.

А следом движется еще один пароход — поменьше. Он легко расталкивает льдины своим острым носом, гремит музыка, флаги трепещут на ветру, и все сливается в одну яркую картину победного шествия весны.

Весну почуял и наш Маркиз — он подолгу простаивал на крыльце, принимаясь и прислушиваясь к каким-то своим собачьим весенним обещаниям, а потом убежал из дома. Он нашелся у одних наших знакомых в Выборге, где как-то зимой прожил несколько дней. Удивительно, как он нашел дорогу, по которой ходил всего один раз с тетей Наташей, — ведь надо было

пройти почти двадцать километров через леса, поля, переходить вброд разлившиеся ручьи. Но нас не восхищали нюх и сметливость собаки — все сочли его побег за проявление самой черной неблагодарности и измены. Все возмутились, даже тетя Наташа, которая души не чаяла в своем Маркузьке, заявила, что такого коварства от него не ожидала. Маркиза несколько раз наказывали, сажали на цепь, но он все равно срывался и уходил. Какая-то неведомая сила влекла его в город, — может быть, он там нашел себе подругу? Наконец все устали бороться с этой песьей манией побегов и навсегда подарили неверную собаку тем знакомым.

Весной и кончилась наша жизнь на Раухаранте. Надо было подумать о нашем систематическом учении, надо было общаться с людьми. Опасность нашего полного одичания становилась все реальнее. Мы покинули дикий и прекрасный уголок природы на Сайменском канале и переехали жить на дачу некоей г-жи Химонен, где-то между Оллила и Куоккала, на Териокской дороге.

В последний раз мы пошли прощаться со шлюзами. Один рукав канала проходил через шлюзы, а другой отводил лишнюю воду в озеро под ними, — образовался остров, где было очень интересно играть, а главное, смотреть с крутого берега на бешено мчащуюся воду отводящего канала. Из воды торчали черные, блестящие камни, и вода прыгала через них, вся в пене и брызгах, и мы часами могли простаивать на берегу, с уважением и страхом глядя на эту неуголимую злобу. Вода все-таки какая-то коварная, думала я, то она тихая, ласковая, голубая, то вдруг помчится как бешеная, набрасывается на камни, бьет их с такой силой, что земля дрожит и гул разносится далеко кругом. Потом опять притворится смирной и послушной, ласково журчит и течет себе среди цветущих лугов, играя с отраженными в ней облаками.

Особенно жутко было смотреть на пороги с узенького высокого мостика, соединявшего обе стороны реки, — когда долго смотришь оттуда на яростное мельтешение воды, то начинает казаться, что мостик тоже тронулся с места, поплыл куда-то, все быстрее и быстрее, с трудом оторвешь замороженные глаза, глянешь на неподвижный лес, а он кружится, плывет бесшумными кругами, сердце замирает, и тоненько звенит в ушах. Белки, которых было великое множество в этих краях, тоже боялись порогов и только в случаях крайней нужды — когда, например, за ними гналась собака, — рисковали перебежать по мосту. Они мчались, высоко задрав пушистый хвост, а потом шарахались к ближайшему дереву, мгновенно взлетали на его вершину и сидели там, сердито отплеываясь.

Итак, мы живем у Химонен. Небольшой темный дом стоял прямо в лесу, в стороне от дороги. Там было тихо, мрачно, темно. Мамина тоска не проходила. Она подолгу уезжала куда-то, гостила у знакомых, устраивала какие-то дела. Когда мама бывала дома, случалось, я ловила на себе ее тяжелый взгляд, с каким-то тягостным недоумением устремленный то на меня, то на Тина, — казалось, она удивлялась, какие большие и шумные у нее дети, старалась понять, что же такое мы собой представляем. Казалось, наше детское равнодушие к ее горю оскорбляло ее. С одним Саввкой она гуляла, даже часто брала его в свои поездки, и было видно, что его присутствие ее успокаивает. Иногда она выходила из своей мрачной задумчивости и с каким-то болезненным азартом бралась вдруг за хозяйственные заботы — вдруг испечет какой-нибудь необыкновенно вкусный пирог или возьмется обучать нас музыке — всех троих. Я было уже научилась довольно бегло играть на пианино и благодаря своему прилежанию даже обогнала любезных братцев, как у мамы пропала охота нас обучать, — она заявила, что таких неспособных детей она еще не видывала. А ведь как трудно было каждой рукой играть что-то разное, да еще при этом отсчитывать такт и смотреть в ноты! Но зато какое было наслаждение, когда пальцы наконец начинали послушно барабанить по нужным клавишам и из-под них начинал прерывисто литься пошловатый мотивчик песенки: «Давно готова лодка, давно я жду тебя, садись, моя красотка, с тобою счастлив я!..» Я так часто играла эту песенку, что даже тетя Наташа, не обладавшая мощной музыкальной памятью, вытвердила ее наизусть и вечно напевала, так что, когда я начинаю вспоминать те времена, у меня сейчас же начинает звучать в ушах этот гнусенький романсик.

Учение музыке было заброшено, но зато у нас появилась учительница-немка, которая изрядно научила нас немецкому языку. У нас были толстые тетради, в которые мы записывали немецкие стихи, — что-то страшное, сколько мы с Тином вызубривали стихов! — Гейне, Гёте, Шиллера. Еще у нас был учитель, который пытался научить нас арифметике, его героические усилия разбивались в прах о каменную глыбу нашего отвращения к этому предмету. Вскоре ему пришлось оставить его в первобытном виде, перейдя к изучению естественных наук, географии и литературы. Учитель был симпатичный молодой парень с кривоватыми ногами. Их кривизна особенно потешала нас, когда учитель бежал, — он как-то уморительно взбрыкивал, вихляя ногами в стороны. «Совсем как корова!» — провозгласил ехидный Тин.

Однажды мама уехала летом куда-то надолго и забрала с

собой Саввуку, Тина оставили с тетей Наташей, а меня почему-то отдали в семейство Ильи Ефимовича Репина, с которым маму связывала давнишняя дружба и который был нашим соседом.

Репины жили все на той же знаменитой дороге, что ведет то по самому берегу залива, то отдаляется от него и идет через лес, то проходит по высокому «карнишу». Всюду по ее сторонам были рассеяны дачи. В одном месте, недалеко от Куоккала, дорога проходит через густой еловый лес, и влево отходит наискосок дорожка — в сумеречно-зеленой тени деревьев виднеются покривившиеся старенькие ворота, на них неразборчивая надпись — «Пенаты». Пройдя ворота, путник заворачивал влево по заросшей тропинке среди елок, и перед его глазами вырастал весь дикий дом Репина. Когда дул ветер с недалекого моря, то к шуму елей и сосен примешивался какой-то странный вой, чрезвычайно жутко действовавший на непривычного посетителя, приближавшегося к «Пенатам». Нельзя было понять, какого происхождения этот вой и откуда он несется. Как будто «стон повторяя погибшей души», стонал и плакал сам обездоленный ветер, примчавшийся из далеких просторов суровой Лапландии, с гранитных утесов Нордкапа. То затихая, то поднимаясь до душераздирающего вопля, вой проносился над домом, и было удивительно, как это люди могут там жить и даже спать по ночам. Я скоро, однако, разгадала тайну страшного воя: оказывается, так выла старенькая и расстроенная Эолова арфа, установленная на крыше дома. Я была знакома с таким сооружением еще раньше — у одних знакомых тоже было такое приспособление, но оно не выло, а звучало очень красивым слаженным аккордом — то усиливающимся с порывами ветра, то ослабевающим — как будто где-то далеко играют на органе. Механизма никакого не было, было только множество трубочек неравномерной толщины и высоты, срезанных наверху, и ветер, проносясь над ними, производил разной тональности звуки — очень мелодичные и нежные.

Зуб времени, видимо, изрядно поработал над Эоловой арфой Ильи Ефимовича: одни трубки полопались, другие закупорились, в третьих воробьи свили себе гнезда, и когда дул ветер, то все они издавали звуки, которые отнюдь нельзя было назвать гармоничными, — скорее это была какая-то дикая симфония, созданная сошедшим с ума композитором и сыгранная на органе таким же сумасшедшим музыкантом.

Эолова арфа, или, вернее, то, что от нее оставалось, располагалась на бесчисленных выступлениях, башенках и прочих витиеватых украшениях крыши. Повсюду можно было пройти по лесенкам, переходам, мостикам — все это было деревянное, с

шаткими почерневшими от времени перильцами. Над фронтоном дома возвышался какой-то стеклянный купол в виде колпака для сыра; в его устройстве был механизм, при помощи которого часть купола раздвигалась, становилось видно небо, и атмосферные осадки могли беспрепятственно падать прямо на Илью Ефимовича, безмятежно спящего в меховом мешке, вроде тех пресловутых спальных мешков, которые употребляют полярники на дрейфующих льдинах. Восьмидесятилетний старик был еще удивительно бодр и настолько закален, что даже в море купался чуть ли не до первых заморозков. Сон на свежем воздухе, можно сказать, под открытым небом, также способствовал укреплению здоровья Ильи Ефимовича. Он жил в своих «Пенатах» с дочерью Верой Ильиничной — старой девой со многими странностями. Только какая-то незаметная прислуга-финка молчаливо стряпала что-то на кухне и прибирала маленькие темноватые комнатки.

С сыном своим, Юрием Ильичом, старик Репин в ссоре. Они никогда не навещают друг друга, хотя их поместья граничат заборами. Илья Ефимович только сердито фыркает, когда речь заходит о сыне, и многозначительно вертит сухоньким пальцем около лба. Мама, однако, ходит к ним обоим, и они оба пишут ее портрет, так как Юрий Репин тоже художник. Наружность у Юрия Репина весьма примечательна: огромного роста, могучего телосложения, черноволосый, с небольшими усиками, он чрезвычайно напоминал Петра Великого. Сходство становилось еще более разительным, когда с мрачным вдохновением он начинал рассказывать что-нибудь и лицо подергивалось где-то около губ легкой судорогой.

Сыновья Юрия носили какие-то древнеримские имена, не помню уже, какие именно, но достоверно знаю, что старшего звали Кай. Это были тихие, скромные юноши и, кроме звучных имен, ничем не напоминали древних патрициев времен расцвета Римской империи.

Не знаю, как получилось, что мама согласилась позировать Юрию Репину для портрета, не помню и самого портрета. Знаю только, что он был недокончен, так как мама поссорилась с художником и отказалась от сеансов. Кажется, ее отказ послужил поводом к разным недоразумениям между ними, или, наоборот, недоразумения послужили поводом к отказу, во всяком случае, мама перестала посещать их дом. Велико же было наше изумление, когда однажды вечером гигантская фигура Юрия выросла в дверях нашего жилища у г-жи Химонен. Мамы не было дома. Мы столпились в прихожей, во все глаза уставившись на подергивающееся лицо Стервятника и его лихорадочно сверкающие глаза. Потоптавшись в передней, он вдруг погладил

меня и Тина по голове и пробормотал нечто вроде: «Бедные дети... дети голодны...» После этих маловразумительных слов он шагнул в комнату, уселся за стол и начал объяснять Саввке, как правильно надо рисовать Иисуса Христа, распятого на кресте. По его словам выходило, что общепринятое изображение Иисуса Христа, спокойно висящего на кресте, с мирно склоненной к плечу головой, с руками и ногами, вытянутыми вдоль перекладин креста, — совершенно не соответствует действительности и, следовательно, не реально. При помощи выразительных рисунков, которые он тут же начертил на бумаге, Юрий доказал, что руки человека, прибитого гвоздями к перекладине креста, должны под тяжестью тела неминуемо вывихнуться в плечах, что все тело, повиснув на этих вывороченных руках, должно скорчиться, ноги в коленях согнуться, голова низко опуститься на грудь. Якобы для того, чтобы тело так не корчилось, человека сажали верхом еще на одну перекладину, прибитую вертикально к поверхности креста.

Мы с ужасом смотрели на эти рисунки — что-то грубое, кощунственное чудилось нам в этом несчастном распятом человеке, в уродливой позе висящем на кресте. На его лице гримаса страдания, пряди спутанных волос падают на лоб, израненный терниями венца. Но нельзя было не согласиться, даже нам, детям, это было понятно: такое изображение куда более походило на действительность, чем слащавый и неправдоподобный в своей благостности образ распятого Христа, каким его принято изображать на всех картинах и распятиях.

Вера Ильинична была тоже с превеликими странностями. Она носила тоненькую, как крысиный хвостик, косичку — полуседую, полукрашеную — и часто дергала за нее или несколько раз подряд довольно крепко стучала себя кулаком по лбу — все это с задумчивым видом, устремив бессмысленный взор куда-то в одну точку. Мы ее совсем не боялись, но и никак не дразнили, так как она была до крайности добродушна и по-детски наивна. На наши проказы она только всплескивала руками и с еще большей энергией дергала себя за косичку. Мы удивлялись, как это мама выдерживает такое тесное общение с ней, даже гуляет по берегу, часами разговаривает — о чем? — однако молчали из боязни рассердить маму. Илья Ефимович мало общался с дочерью. Он выходил из своего ателье только к обеду, гулял один и не позволял особенно за собой ухаживать — все делал сам быстрыми, суетливыми движениями. В отличие от своих высоких и медлительных детей, он был очень невелик ростом, сухощав, белые волосы и борода пухом окружали его лицо с быстрыми, строгими глазами стариковски блеклого голубого цвета.

Мамин портрет у него получился замечательно, несмотря на то что в ее лице было что-то неуловимое, трудно поддающееся изображению. Она позировала многим художникам, но ни один портрет не удался так, как репинский. На нем она написана полулежащей на кушетке. Опираясь на локоть, одетая в белое бальное платье, она задумчиво и печально смотрит перед собой. Белая шея, руки, складки платья выписаны с таким мастерством, что кажется — шелк шелестит, приподнимаемый дыханием, а на шее ритмично бьется маленькая жилка. Лицо было удивительно, неправдоподобно похоже, с тем самым, особо маминым выражением, что мне становилось неловко — вдруг мама встанет и скажет: «А что это ты тут делаешь?»

Когда портрет был окончен, состоялось торжественное его открытие взорам публики — в ателье собралось много народу, Илья Ефимович в своем замазанном красками халате похаживал среди людей, а мама в том самом платье, что на портрете, рассказывала и объясняла им что-то. Потом все сели, а мама подошла к столу, вынула исписанные на машинке листы и прочитала папин рассказ «Полет». Мама славилась искусством выразительного чтения и часто читала вслух нам, заставляла нас читать, все время поправляя и ругая за проглатывание окончаний слов и монотонность.

Рассказ «Полет» я хорошо помню, хотя потом уже его не встречала и не читала больше. На мой взгляд, это был странный рассказ — о каком-то пилоте, который был вполне здоров, молод, красив, имел очаровательную жену и детей и вот так увлекся полетом, такие головоломные делал фигуры в воздухе, что наконец разбился вместе со своим аэропланом. Удивительнее всего, что это он сделал намеренно и даже перед полетом попрощался с женой, которая, бедняга, ничего о его намерениях не знала. Мама была очень красива, когда читала, — ее глаза блестели, рука делала выразительные жесты, голос звучал немного глухо от волнения. Когда она прочитала последнюю фразу — «на землю он не вернулся никогда», — голос ее задрожал, она быстро встала из-за стола и вышла из комнаты.

Саввка к тому времени уже очень недурно рисовал, и Илья Ефимович наблюдал за ним, поправляя и показывая ему. Помню, Репину очень понравился один Саввкин рисунок — он изображал старика сапожника, которого Саввка много раз рисовал из-за его характерного лица. На наброске старик как-то особенно выразительно смотрит из-под густых клочковатых бровей — очки сдвинуты на лоб, в глазах смешливая искринка, как будто сейчас что-то скажет смешное, — Репин даже засмеялся, когда увидел эти глаза. «Хорошо, — сказал он, — из тебя выйдет толк».

Большую частью, однако, Репин бывал не в духе, фыркал и бурчал себе под нос, стремительно скрываясь в дверях ателье, уйдет и затихнет там, а все на цыпочках выходят — боялись страшно сердитого старика. Но мы узнали Репина и с другой, неожиданной стороны, которая как-то сблизила нас, сделала его простым и понятным.

Дами и русской молодежью был как-то устроен некий благотворительный концерт, деньги, вырученные за билеты, должны были поступить в пользу нуждающихся студентов, — видимо, в Оллила и Куоккала были и студенты. Развлечения такого рода были чрезвычайной редкостью, и мы с нетерпением ждали этого вечера. Он показался мне удивительным, прекрасным. Мне понравилось все: лезгинка, хор и даже спетый одной пожилой дамой романс «Соловей» — в простоте души я сочла ее пронзительные взвизгивания за колоратурное пение.

А потом на сцену вдруг вышел Илья Ефимович Репин в своей бархатной куртке с чем-то вроде висячего банта под подбородком. Никто не знал, о чем он будет говорить, но всем было очень интересно — люди переглядывались, улыбались и наконец замерли, с напряженным вниманием глядя на тщедушную фигурку Репина.

А он приблизился к самой рампе и таинственным голосом заговорщика начал: «Поздно ночью из похода воротился воевода...» У меня даже что-то екнуло внутри — это стихотворение мы прекрасно знали наизусть, еще Вадим нам его представлял в лицах, оно мне всегда нравилось остроумным и неожиданным решением, казалось бы, неразрешимой ситуации. Как же Репин его прочитает? А он совершенно преобразился, всякое тщедушие с него слетело — теперь он был громадным, грубым, красноречивым воеводой. Как он бросился... «к постеле; дернул полог... В самом деле! Никого; пуста кровать». На его одураченном лице гнев, возмущение, вдруг мстительная радость осветила его, движения стали быстрыми, какими-то хищными. Отрывистым повелительным голосом он отдает приказания мальчишке-слуге, и вот уже: «Пан и хлопец под забором тихим крадутся дозором...» Согнувшись, почти прижавшись к забору, воевода на цыпочках крался вдоль стены — так и чувствовалось его грузное тело в таком необычном для него движении, столько злорадства в его взгляде, когда «...на скамейке, у фонтана, в белом платье, видят, панна и мужчина перед ней...». Короткие, брошенные свистящим шепотом приказания — хлопец целится... И вдруг совсем другим, добродушно стариковским голосом, подняв брови, с неизъяснимым выражением лукавства, Репин говорит: «Хлопец, видно, промахнулся: прямо в лоб ему попал».

Даже теперь, когда я вспоминаю о неожиданном сценическом даре Ильи Ефимовича Репина, у меня делается тепло на сердце, и я чувствую, каким талантом, какой отзывчивостью ко всему прекрасному должен был обладать этот человек. Пушкинская острая ирония этого стихотворения была, видимо, сродни характеру Репина — ехидный был он старичок, и никакая человеческая слабость не ускользала от его зоркого, осуждающего глаза.

Репинский дом был весь полон чудаковатым духом своего хозяина — эта Эолова арфа, этот стеклянный купол, темноватые комнаты с какими-то затейливыми переходами и тупиками! Всюду потертые пыльные занавесы, косо висящие картины, мутные от времени зеркала в простенках, всюду слышится сердитое стариковское фырканье, всюду чудятся развевающиеся полы его замызганного красками халата, стремительно исчезающие за изгибом коридорчика.

Самое название репинской дачи — «Пенаты» — очень шло ко всему облику этого дома. Чуть ироническое, чуть ласковое, оно сообщало ему домашний стариковский уют и прелесть. Ведь пенаты — это добродушные боги домашнего очага, покровители уюта и благополучия дома, их благоволение к этому дому чувствовалось во всем. Это их шамкающий шепот слышался по углам, под их старческими, но легкими шагами поскрипывали половицы, их вздохи и кряхтение колыхали пыльные занавески.

Но самой занятой комнатой в репинских «Пенатах» была, безусловно, столовая — даже не так сама комната, как совершенно необычайный обеденный стол. В жизни я не видывала такого стола! Большой и круглый, он имел три этажа, которые ярусами поднимались на его середине. Нижний этаж, приблизительно в тридцать сантиметров шириной, был неподвижным — составлял, как бы сказать, основание стола. Второй этаж возвышался над первым этаж на двадцать сантиметров и напоминал штурвальное колесо, только лежащее и с ручками, вертикально поставленными к его плоскости. Если обедающему требовались соль, хлеб или другое какое блюдо, он хватался за ручки и вертел колесо. Требуемое блюдо с тархтением, но довольно плавно подъезжало прямо к носу гостя, и он накладывал себе на тарелку столько, сколько ему хотелось. Случалось, правда, что его визави в свою очередь тянул колесо к себе, — происходила короткая борьба, сильнейший побеждал, и тогда тоскующий взгляд гостя провожал блюдо, скрывающееся за поворотом.

Посередине возвышался еще третий ярус, образовывая наименьшее по диаметру колесо, — оно тоже обладало ручками и могло вращаться вокруг собственной оси. Довольно-таки дикое зрелище представлял собой этот стол, в особенности когда вокруг него сидело много гостей. Не было ни малейшей возможности разглядеть за ярусами стола своего собеседника. Гости чуть не откручивали себе шеи, наклоняясь то в одну, то в другую сторону с риском свалиться со стула. Они чувствовали себя достаточно глупо, имея перед самым лицом не доеденную кем-то ножку цыпленка, или когда их собственная ложка, неосмотрительно положенная на второй этаж, вдруг уезжала от них прочь. Гости перекликались между собой, как в дремучем лесу, и вразброд вертели штурвальные колеса. Особенно эффектно получалось, когда они со стуком и грохотом крутились в разные стороны и мимо носа проносились на большой скорости то котлеты, то горчица, то какие-то объедки и грязные тарелки. Видимо, механизм этого изобретения должен был позволить гостям обходиться без помощи прислуги. Так оно и получалось, но все же они довольно поспешно и с явным облегчением вставали из-за стола, как только обед кончался, и, взяв свою чашку в руки, разбредались по комнатам в поисках нормального столика, где можно было бы без помехи поговорить и допить чай.

У Ильи Ефимовича имелась своя собственная — персональная, так сказать, чашка, которая почему-то никогда не мылась. Он пил в ней какао, потом наливал туда же чай, так что там образовывались осадения и наслоения, оставшиеся от всех

этих напитков. Как Нансен с Иогансеном в книге «Во мраке ночи и во льдах», он отскребывал потом ножом лишние слои и безмятежно наливал себе снова чай. Прислуге было велено никогда не касаться этой чашки.

В саду главной достопримечательностью был артезианский колодец по имени Нептун. Он был похож на невысокую круглую башенку, по стенам которой непрерывно стекала сверху ледяная и кристально чистая вода. От вечной сырости стены башенки были покрыты зеленой плесенью, а у ее подножия всегда стояли страшно холодные лужи. Вода из Нептуна стекала в заросший камышами пруд.

Во время своего пребывания в «Пенатах» я была предоставлена самой себе и могла делать все, что мне угодно. Надо сказать, что скучно мне никогда не было, хотя в большом заброшенном саду не было ни души, и за целый день, случалось, я не произносила ни единого слова, — мне даже казалось порой, что рот мой склеился и я вообще разучилась говорить. Главным полем моей деятельности был пруд. Я раздобыла где-то старые ворота — они были сколочены из трухлявых досок, но признаны мною за вполне подходящий материал для постройки сверхмощного дредноута. В общем, это был обыкновенный плот, и только сила моей фантазии могла возвеличить его до столь пышного названия.

...Сделав очередной рейс, я возвращалась к пристани — уютной бухточке под большой ивой. Мой корабль выглядел очень живописно со своим усовершенствованным сиденьем из сена, с приступочкой для ног, солнечные блики скользили по нему, а я стояла и любовалась — честное слово, мне казалось, что красивее судна нет в мире!

Налюбовавшись властью, я отправлялась на невысокий холмик в конце сада — по его вершине проходил забор, отделявший репинские владения от его соседей.

...Сидя на припеке, я плела бесконечные венки из кошачьих лапок — здесь тоже росли эти милые бархатистые цветочки.

В таких занятиях проходил день, а вечером я сидела за штурвальным колесом и сонными глазами наблюдала, как Вера Ильинична стучает себя по лбу, задумчиво вперив взгляд в стенные часы. Мысли лениво проходили в моей голове — короткие, расплывчатые, полные бабочек, уток и плотов.

Потом кончилось лето и меня забрали от Репиных. Началась новая эра в нашей жизни — нас отдали учиться в школу. Школа эта находилась довольно далеко от нас — небольшой каменный дом в два этажа был окружен обширным и каким-то пустым участком, вся трава была вытоптана многочисленными ногами.

Позади дома было возвышение, все поросшее деревьями и кустами, — идеальное место для игры в казаки-разбойники, которой увлекались все ученики. В школе было всего три класса гимназии, так как старших детей не было. Третьеклассники считались взрослыми, серьезными людьми. Там учились такие умные парни, как Виталий Тумаркин, и такие красавицы, как рыжая и бледная Ирма Таухер, в которую влюбился Саввка. Меня опять-таки дразнили Виталием — я краснела, бледнела и не могла пошевелиться, когда Виталий со снисходительным видом брал меня за руку или становился рядом во время игры. Я и так была страшно застенчива и неуклюжа, но, когда Виталий подходил ко мне, эта застенчивость принимала катастрофические размеры — каждый палец на руках и ногах как будто наливался чем-то тяжелым, как свинец, и не было никакой возможности пошевелить им, в то время как Ирма Таухер и другие девочки свободно и непринужденно прохаживались с мальчиками по залу. Я от всей души ненавидела толстую самодовольную рожу Виталия, но молва твердила, что я в него влюблена, одно это слово повергало меня в состояние, близкое к столбняку, — приходилось верить, что это так и есть.

Мы с Саввкой ходили во второй класс, а Тин — в первый. Я гордилась тем, что была самой младшей в классе, — мне было всего десять лет, но мои знания уважались всеми учителями. В особенности я блистала в области географии, истории и литературы, — сказывалась начитанность, действительно редкая в эти годы. Уже тогда я безошибочно писала по старой орфографии — уроки Вадима не пропали даром! — и умела здорово рисовать географические карты. Только арифметика по-прежнему доставляла мне массу огорчений. Но я была очень прилежна, старательно исписывая тетрадки своим ровным почерком, выпятив от усердия верхнюю губу с выражением того гойевского черта, который стриг когти товарищу, собираясь на адский бал.

В классе я чувствовала себя свободно и непринужденно, так как всегда все знала, и только снисходительно улыбалась, когда кто-нибудь «плавал» у доски. Был у нас в классе один мальчишка — бледный, вихрастый и страшный заика, — может быть, это и нехорошо, но его выступления у доски возбуждали неудержимый хохот у всех учеников, даже сам учитель хотя и сердился, но я видела, что иногда он отворачивался к доске, не в силах сдержать улыбки. Несчастный парень особенно не выносил слов, начинавшихся на букву «а». Однажды учитель географии вызвал его к доске и приказал перечислить страны света, которые, как известно, кроме Европы, все начинаются на эту роковую букву.

Мальчишка хорошо знал урок и с готовностью взялся за перечисление, он старательно открыл рот и понатужился — ни звука! Покраснев до синевы, он выпучил глаза, замахал руками, но из его отверстого рта вырвался только какой-то рев, очень отдаленно напоминавший звук «ха». Наконец с последним отчаянным усилием он прорычал: «Х-х-азия!» — и тут же взялся за «Х-хафрику». Совершенно взмокший и красный как рак, он добрался таким образом до Америки, и учитель, предвидя еще Австралию, сжалился над беднягой и попросил его написать названия на доске, а потом долго ругал нас за нетоварищеское отношение. И вовсе это не было нетоварищеским отношением, мы все очень любили парня, просто это было невероятно смешно, и ничего в нашем смехе не было обидного — сам мальчишка и не думал обижаться.

А дома была все та же мрачная, безрадостная атмосфера, мама все чаще уезжала куда-то, и все чаще слышались разговоры о том, что необходимо уехать за границу. Ведь Финляндия отделилась от России, граница пролегла где-то у Сестрорецка, и маме совсем не улыбалась мысль отдавать нас учиться в финские школы, жить в таком захолустье всю жизнь. Ехать одной, с маленькими детьми в Россию, где бушевала гражданская война, были голод и разруха, мама не решалась. Друзья настойчиво советовали маме ехать в Германию... Наше материальное положение поправилось бы с переездом, так как мама вела деловые переговоры с немецкими издательствами насчет издания папиных книг на немецком языке и с театральными обществами, которые соглашались ставить папины пьесы.

Был разработан следующий план: сначала мы все едем на Черную речку, чтобы позаботиться о большом доме, о библиотеке, что-то продать, кое-что сдать внаем. Потом мама с Саввкой едут вперед в Германию, а тетя Наташа, Тин и я остаемся еще на некоторое время на Черной речке, в ожидании сестры Нины. Нина была маминой, но не папиной дочерью, и звали ее Нина Константиновна Корницкая — Корницкий был мамин первый муж, о котором она никогда не говорила. Нине к этому времени было лет семнадцать, и никто не знал, как она выглядит, так как дома на Черной речке она бывала, когда мы были совсем маленькими, а потом все время жила у бабушки Анны Яковлевны, маминой мамы. Бабушку мы совсем не помнили, только знали, что она очень культурный человек, чуть ли не профессор архитектуры и скульптуры, искусствовед и заведует музеем в Ставрополе на Кавказе.

С радостью мы уезжали от г-жи Химонен, ее дом нам не прирос к сердцу — уж очень там было темно, мрачно, сад

маленький — негде пробежаться. То ли дело наши чернореченские просторы, наш громадный дом, — наверное, он очень изменился за время нашей разлуки с ним?

На первый взгляд он был как прежде, — может быть, только еще больше покосилась башня... Но все той же привычной громадой он возвышался на холме, все так же был знаком и дорог, так что ничего, кроме чистой радости от свидания с ним, мы не испытали. Жить в нем, однако, было невозможно — крыша всюду протекала, в нем было сыро и холодно даже летом, а отопить зимой не представлялось возможным. Поэтому мы заняли флигель — маленький домик из двух комнат и кухни, с верандой и прихожей. Комнаты были достаточно просторными, светлыми, кухня большая, всюду крашенные деревянные полы с пестрыми половичками — чисто, хорошо. Большая часть окон дома и веранда были обращены к югу, где из-за низких берез виднелся мрачной громадой наш пустой, необитаемый и страшный дом.

Мама попыталась было вынести и продать хоть какую-нибудь мебель из большого дома, но оказалось, что это невозможно сделать, — мебель делалась на заказ в самих комнатах, и когда попробовали вынести диваны и кресла красного дерева из маминого кабинета, то они не пролезли в двери, — все осталось так, как было, и мама, не в силах смотреть на развалины прежней жизни, с какой-то болезненной торопливостью доделала кое-какие необходимые дела и уехала с Саввкой в Берлин. Перед самым ее отъездом к кухонному крыльцу большого дома подъехали телеги, и нам было велено выносить книги из папиной библиотеки и грузить их на подводы.

Мы с Тином рьяно принялись за дело. Мы проносились через кухню, пробегали огромную столовую, бежали по лестнице и врывались в тихий молчаливый папин кабинет, где из угла дико косился Лев Толстой в ночной рубашке, а на стене черт стриг когти все с тем же феноменальным усердием. Тяжелые синие занавесы отдернуты, ковер затоптан нашими грязными ногами, и библиотека, это священное место, куда входили на цыпочках, где говорили шепотом, где чистыми руками осторожно снимали с полки выбранную книгу, — эта библиотека подверглась нашему варварскому нашествию. Мы распахивали зеркальные шкафы, выхватывали как попало книги и как какие-нибудь дрова накладывали на согнутую в локте руку, — придерживая книги подбородком и другой рукой, не видя ничего у себя под ногами, мы выносили их из кабинета.

Один раз, спускаясь с лестницы, я развалила свою высоченную кипу книг, и они разлетелись по ступенькам. Я

бросилась поднимать, и тут мои глаза нечаянно остановились на «Некто в сером» — суровым, осуждающим взглядом он смотрел прямо на меня через красноватое пламя своей свечи, странно короткой, почти огарка. Этот тяжелый взгляд притягивает меня, казалось, он хочет что-то сказать... С трудом я отворачиваюсь, поспешно нагибаюсь и начинаю подбирать книги — я подбираю, а он все смотрит, и было тихо, совсем тихо в пустом доме... Страшный взгляд сверлил мне затылок, проникал в самую глубь мозга, и вдруг догадка, как молния, блеснула в голове — он сердится. Он сердится, что выносят книги — папины книги! Ведь они — часть его самого, это его душа сегодня покидает холодное, мертвое тело — свой дом. Вот сейчас «Некто в сером» шагнет вперед и скажет: «Тише, человек умер!» И свеча его погаснет... Странно, что она еще горит, когда Человек — папа — уже давно умер. Она оттого еще не погасла, что папина душа в его книгах, и, пока они здесь, она тоже здесь, в доме, она не может умереть, она незримо присутствует... Мысли мешаются, и ужас холодной рукой пошевелил мне волосы, и сжалось горло от жалобного крика, когда слышался топот ног и живой, задышающийся от бега голос Тина прокричал мне в самое ухо: «А я уже отнес, а ты все тут копаешься!» И все сразу прошло, исчезло, я радостно подхватила ставшие вдруг послушными книги и побежала с ними вниз, через столовую и кухню на крыльцо, где светило солнце и стояла лошадь, помахивая хвостом и с хрустом пережевывая овес в подвешенном к морде мешке.

Но вот уехали наши книги, уехала мама с Саввкой, и наша жизнь сосредоточилась во флигеле. Двери большого дома были заперты, окна заколочены, дорожки к нему заросли. Мы редко ходили к дому — зачем, когда гораздо интереснее играть около флигеля, носиться по саду и далеко по окрестностям в обществе верного Варнавы Препотенского. Этим персонажем Лескова был пес — фантастическая помесь таксы с дворнягой самого плебейского происхождения. Он был весь вытянут в длину, ноги короткие, но не слишком кривые, только если посмотреть сзади, то заметно, что они от коленей торчат врозь. Цвета он был какого-то голубовато-стального, вроде полярного песка, но с белыми и желтыми подпалинами. Одно его мягкое, как бархат, висячее ухо было черным, другое белым, глаза тоже — диво дивное! — были разными — один глаз карий, другой голубой. Кончик его длинного стального хвоста был украшен белой кисточкой, которая, как флажок, мелькала в траве, когда Варнава бежал через луг. Сзади на ляжках лихо закручивались два маленьких водоворотика из желтой шерсти.

Все находили, что Варнава донельзя безобразен, но ни одна

самая умная, самая породистая собака не снискала бы себе столько нашей любви и нежности, как наш дорогой Варнашка! Какой это был умный и милый пес, каким весельем сверкали его разные глаза, как светились его белые зубы!

Вот он спит, свернув калачиком свое длинное туловище, на подстилке, и кажется, что глубоко спит, по крайней мере у него даже подрагивают ноги и дрожат веки, — наверное, снится Варнаве Препотенскому, как он мчится по полю в погоне за курицей, — была в его жизни такая пагубная страсть! А человек подходит себе к вешалке взять пальто или куртку — тете Наташе понадобилось чего-то купить в лавке финна Сиркэ, который «с кадыком». Посмотрите на Варнаву! Каким-то шестым чувством, которое бдит даже во сне, собака чувствует, что берут что-то с вешалки, — она моментально вскакивает и в диком восторге начинает прыгать и скакать по комнате. Ее глаза сияют, пасть растягивается в подобие улыбки, из нее вдруг высовывается кончик розового языка, он все растет, удлиняется, наконец заворачивается в трубку — раздается взвизгивающий, протяжный зевок. Это нервная зевота — она всегда нападает на Варнаву, когда он находится в счастливом предвкушении прогулки. Уморительное и трогательное зрелище! Он мешает одеваться, выхватывает из рук калоши и шапку, бросается то на грудь одевающемуся, то на дверь, и все время слышны его нервные зевки. Наконец открывается дверь, и Варнава в экстазе вылетает на крыльцо. Вороны и воробьи в ужасе шарахаются от него на деревья, он сконфуженно останавливается, оглядывается: не сердись, мол, что я так глупо погорячился! — говорит его лукавая морда. Убедившись, что никто не сердится, он сладко щурится, фыркает, скидывает хвост и грациозной рысцой бежит по дорожке — смешные водоворотики на лужках начинают ритмически покачиваться в такт движениям ног.

Нам трудно представить себе прогулку без этой проворной, торпедообразной фигуры, мелькающей то впереди, то сзади, — вот он совсем скрылся в высокой траве, только белый кончик хвоста да полоска волнующейся травы указывают на его продвижение. К сожалению, прогулки не всегда кончаются благополучно, вернее, почти ни одна из них не обходится без роковой встречи с курами — ведь около всякой крестьянской избы гуляют десятки этих беспечных пернатых. Вот и сейчас мы замечаем несколько гуляющих кур около забора своего хозяина, который — как мы не раз убедились — имел злой и мстительный характер. При виде злодейской рожи достойного Варнавы он немедленно впадал в беспокойное, крайне нервное состояние.

«Где же Варнашка?» — думаем мы. «Варнашка! Варнашка!» —

зовем с беспокойством. Но уже поздно, зоркие глаза хитрого пса, оказывается, уже давно заметили беспечно разгуливающих кур. Ловким обхватом он отрезает их от спасительной лазейки и стремительно бросается в атаку. Он несется, закинув уши поверх головы, глаза его сладострастно зажмурены, тело стелется по земле в одной линии с хвостом. Куры слишком поздно замечают страшную опасность — с отчаянным криком они разлетаются во все стороны. Истерическое кудахтанье звучит райской музыкой в ушах Варнавы — оно лишает его последних остатков благоразумия. Он наподдал еще, и вот уже его длинный нос почти касается хвоста одной из кур... Она стрелой несется к лазейке — мгновение, и она скроется в ней! Мы кричим, машем руками, бросаем камни. В воротах вырастает мощная фигура разъяренного крестьянина. В руках у него дубина, он машет ею с такой силой, что рассекаемый воздух свистит, из его отверстого рта вырывается страшный рев. Но Варнава в своем упоении слеп и глух, а хвост курицы маячит уже в нескольких миллиметрах от его носа. Еще прыжок, и он вцепляется в хвост, но в тот же момент курица достигла забора и скрывается в лазейке... У Варнавы комичный вид — изо рта торчит пук перьев, а на морде выражение, какое бывает у человека, который внезапно очнулся от прекрасного сна к суровой действительности. Действительность в самом деле сурова, так как крестьянин, пылая справедливым гневом, уже заносит дубину над Варнавой... Но тут подбегаем мы, хватаем за руку, отводим в сторону удар, слезно просим, умоляем пощадить бедную собачку, которая еще так молода, неопытна... Пук перьев, красноречиво торчащий из рта Варнавы, донельзя раздражает крестьянина, но он отходчив, так как видит, что курица отделалась только легким испугом и несколькими перышками. «Чтоб я вашу собаку больше не видел! — рывкает он. — Увижу еще раз без веревки, без намордника, вот этими руками удуш!» — добавляет он, тряся перед нашим носом кулаком и делая жест, не оставляющий сомнений, как именно он будет душить Варнаву. Мы спешно удаляемся, на чем свет стоит ругая Варнаву, который с видом раскаявшегося грешника покорно трусит около. Иногда голова его приподнимается, недремлющее око скашивается в сторону кур, а язык хищно облизывает уголок рта, обращенный к добыче, — не очень-то верьте раскаянию собаки, оно притворно!

И в самом деле, Варнава делается смертельной угрозой для окрестных курятников, и не одна из их обитательниц пала жертвой его роковой страсти. Никакие наказания не помогали, и бедной тете Наташе приходилось расплачиваться за его грехи.

Впрочем, на выразительном лице Варнавы Препотенского

всегда можно было прочесть всю историю его преступления. Так, однажды приходит он на кухню, а на кончике носа висит прилипшее перышко, глаза смотрят в землю, хвост опущен, вся фигура вихляется и прижимается к полу. Ни дать ни взять, Евгений из «Медного Всадника»: «...картуз изношенный снимал, смущенных глаз не поднимал и шел сторонкой...»

Тетя Наташа мгновенно понимает, что случилось, и ее грозный голос гремит над ухом Варнавы: «Где курица, негодяй?!» Варнава бросает исподлобья взгляд на дверь... «Где курица, мерзавец?!» Еще взгляд и неверный шаг в сторону двери. «Иди показывай, где курица?» И вот начинается печальный путь. Варнава плетется впереди, изредка оглядываясь, — в его глазах покорность и глубокая скорбь. За ним шагает тетя Наташа, грозными окриками подбадривая неуверенную поступь преступного пса. В арьергарде плетемся мы с Тинем, наши сердца надрываются от смеси противоположных чувств: нам и смешно, и жалко курицу, и страшно за участь нашего дорогого Варнашки — не избежать ему суровой кары от справедливой руки тети Наташи! Так проходим мы через весь сад, и там, в укромном уголке за кустами, нашим глазам представляется душераздирающее зрелище: на траве лежит большая курица с перекушенным горлом — капельки крови пятнают ее белоснежные перышки, ноги безжизненно вытянуты на зеленой травке... Все останавливаются, онемев от возмущения. Варнава стоит впереди — он тяжело вздыхает, шатается, вся его фигура выражает такую скорбь, что кажется, еще немножко — и он упадет без чувств на бездыханный труп своей жертвы. Тетя Наташа с причитаниями поднимает курицу, осматривает ее: она целехонька, если не считать прокуса на горле — из ранки все еще сочится кровь. Бессовестное животное умерщвляло птицу из чисто охотничьего азарта и никогда не ело свою добычу.

Печальное шествие трогается обратно, но порядок его изменился — впереди шагает тетя Наташа с курицей в руках, потом идем мы, а позади тащится Варнава. Последний акт трагедии разыгрывается на кухне, где справедливое возмездие карает убийцу, — его тычут носом в распростертое тело жертвы, стегают плеткой, при каждом ударе приговаривая: «Не тронь кур! Не тронь кур!» Ни стоны, ни вздоха не вырывается из груди пса — он покорно переносит побои, и весь вид его говорит: «Бейте, мучайте, я заслужил кару я — великий грешник!» Потом он залезает под лавку и, тяжело вздыхая, лежит там чуть ли не целый день — в своем унижении он не решается лечь на свою подстилку, не говоря уже о диване, где — что греха таить! — он частенько похрапывал после обеда в то счастливое время, когда

его совесть не была еще запятнана тяжелым грехом.

А тетя Наташа тем временем с глухими проклятиями потрошит несчастную курицу, которая была признана съедобной. С жалостью она констатирует, что покойница погибла от зубов бессовестного Варнавы в самом расцвете своего куриного призвания, — в ее утробе находится целая серия яиц, от маленьких круглых желточков начиная и кончая совсем почти готовым яйцом с мягкой еще пленкой вместо скорлупы.

На другой день, однако, все страсти позабыты, и тетя Наташа подсовывает тому же Варнашке косточку жертвы его злодейства, а сытый и довольный разбойник, оглядываясь, несет кость в сад, чтобы заботливо закопать носом в землю — про черный день. Впрочем, он всегда забывал про свои тайники, и кости мирно истлевали без всякой для него пользы.

Вправо от флигеля была посеяна полоска ржи — мы протоптали через нее дорожку прямо к группе берез, между которыми у нас были повешены старые гамаки. Они висели, почти касаясь земли, и, чтобы было удобнее сидеть, мы с Тином натаскали травы вместе с землей и оборудовали прекрасные сиденья, где можно было удобно расположиться и качаться, отталкиваясь специальной палкой. Мы проводили все дни на этих гамаках — в одной руке держишь какую-нибудь вкусную репку, время от времени откусываешь кусок — непременно с хрустом! — а другой рукой, вооруженной палкой, отталкиваешься, норовя каждый раз попасть в ту же выемку в земле. Гамаки висели рядом, и мы, качаясь и закусывая, мирно беседовали о своих делах, о книжках, мечтали, рассказывали выдуманные истории. Потом слезали и долго любовались видом наших благоустроенных гамаков и всех окружающих деталей: притоптанная земля под ними, выемки для палок, сами палки, заботливо прислоненные к березе, — все это приводило нас в умиление и восторг.

Были у нас и хозяйственные заботы — в наши обязанности входило хождение по лавкам и ношение воды из ручья, протекавшего уже вне наших владений, за дорогой. Кроме того, я помогала тете Наташе убирать и вечно штопала свои и Тиновы чулки, роковым образом всегда прорванные на коленках. Ведра с водой выливались на кухне в большую бочку — в ней плавал блестящий ковшик. И какая же вкусная вода была в этой бочке, когда ее пьешь из ковшика, и звонкие капли падают в темную воду, отражающую твою румяную, озабоченную рожицу.

По субботам устраивалось купанье в корытах. Тетя Наташа усердно оттирала нас мочалкой и, любуясь моей фигурой, частенько говорила: «Будет за что ущипнуть!» Смысл слов мне

мало понятен, тем не менее я краснею, так как тетя Наташа произносит их как-то особенно многозначительно. Она искренне любит мои волосы — после мытья они блестят, как свежескобленный каштан, и закрывают всю спину, но я недовольна: такие ровные, они совсем не вьются, не то что у красавицы Луизы, в которую был влюблен храбрец Стальное тело из романа Буссенара «Королева золота». «Впрочем, если волосы заплести еще мокрыми, то, высохнув, они ложатся мелкими волнами, что тоже очень красиво», — думаю я.

Однажды в воскресенье, распустив таким образом волнистые пряди своих волос и чувствуя себя удивительно красивой, я читаю по настоянию тети Наташи вслух эту самую «Королеву золота». К несчастью, я вскоре дохожу в чтении до того рокового места, где геройский Стальное тело изъясняется в любви Луизе. Почему-то меня начинает бросать то в жар, то в холод, слова как-то застревают в горле, я мямлю и заикаюсь. Вот уже золотистая головка Луизы склоняется на могучую грудь Стального тела, вот он наклоняется и... о ужас! — я не в силах, буквально не в силах произнести слов «...их губы сливаются в долгом поцелуе». Я спотыкаюсь, умолкаю и вдруг ловлю на себе лукавый и смеющийся взгляд тети Наташи. Красная как кумач, я вскакиваю и выбегаю из комнаты. Больше я не соглашаюсь читать вслух романы, разве только невинные приключения мальчика Фрикэ в дебрях Африки.

У нас два учителя. Это братья Лыжины, которые живут в красивой даче на берегу Черной речки. У них большой сад и оранжерея. Их папа и мама и вообще все семейство не выговаривают буквы «л», причем каждый член семьи говорит вместо этой буквы какую-нибудь другую. Так, слово «лук» в произношении отца звучало как «рук», у матери оно превращалось в «гук», у Юрия Петровича в «ук», а у Павла Петровича в «вук». Особенно комично получилось, когда романтический и бледный Павел Петрович однажды с чувством прочел стихотворение: «...и скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды... Жеванья? Что пользы напрасно и вечно жевать?..» Все неудержимо расхохотались, — в самом деле, какая глубокая правда: «напрасно и вечно жевать»!

Юрий Петрович был очень некрасив, но на редкость симпатичен. Его все любили, в особенности тетя Наташа в нем души не чаяла. Юрий Петрович был очень внимателен к ней — вникал во все ее хозяйственные заботы, интересовался ее рецептами, хвалил кушанья и с удовольствием оставался у нас обедать, зная, что этим доставит доброй тете Наташе большую радость. Она угощала его замечательно вкусным кисло-сладким

хлебом своего изготовления, с изюмом. «Совсем как у Филиппова!» — восхищался Юрий Петрович.

Павел Петрович совершенно не был похож на своего брата. Высокий, стройный, весь какой-то серый — серые глаза, пепельные волосы, серый элегантный костюм, — он производил несколько холодное и высокомерное впечатление. Он часто кашлял — скорее притворно, чем естественно, жаловался на слабое здоровье, и, когда я как-то немного посильнее пожала ему руку, он болезненно сморщился и сказал: «Ради бога, осторожно, у меня очень хрупкие пальцы!» Все это смешило нас с Тином, в особенности эти хрупкие пальцы! «Тоже мне мужчина», — думала я с сожалением. Он преподавал нам русский язык и литературу, а Юрий Петрович все остальные науки.

До сих пор помню объяснения Павла Петровича, перед какими словами надо ставить запятую, где нужен мягкий знак, где удобнее поставить тире. Он очень интересно рассказывал о происхождении некоторых слов и выражений в русском языке, вроде лодырничать, бить баклуши, шантрапа. Слово «шантрапа», оказывается, имело курьезное происхождение. Один помещик любил музыку и пение и нанял себе француза-хормейстера для создания хора из крепостных крестьян. Со всей деревни согнали в помещичий дом крестьян, и француз вызывал их по одному в залу, — сидя за роялем, он пробовал голос и слух будущих певцов. Одним он говорил — «шантра», что по-французски означает «будет петь», в смысле — годится в хор, а послушав другого, морщился и, махнув рукой, изрекал: «Шантра па!» — то есть «петь не будет», не годится. Ожидавшие своей очереди мужики спрашивали выходявшего: «Ну как, опять шантрапа? Эх ты, шантрапа!» Так и вошло это слово в русскую речь для обозначения человека бестолкового, никудышного.

Однажды Павел Петрович задал нам сочинение на вольную тему. Начитавшись разных Элизе Реклю и Буссенаров, я с большим воодушевлением написала повесть под названием «Охота на электрического ската». Рассказ велся от первого лица и изобиловал массой смертельных опасностей. Я была очень довольна своим сочинением и страшно удивилась, когда Павел Петрович, дочитав до конца, вдруг дико захохотал и, не в силах говорить, только показывал пальцем на последнюю строчку.

Ничего не понимая, очень обиженная его смехом, я прочитала: «...меня отвезли в больницу, но я не пришел в себя и умер, несмотря на все усилия врачей». «Что же в этом смешного?» — недоумевала я. «...Я умер, ха-ха-ха! А кто же тогда это писал, покойник?» Тут только я сообразила, какую глупость сморозила.

Наша тихая жизнь была нарушена приездом с большим

нетерпением ожидаемой сестры Нины. Ее долго морили в карантине, куда отправляли всех приехавших из Советской России. Наконец ее выпустили, и тетя Наташа поехала за ней в телеге. Мы с Тиним были потрясены внешним видом нашей новоявленной сестры. С телеги сошла очень полная румяная девушка, с головы до ног закутанная в огромный кумачовый платок, скрепленный булавкой под подбородком. На ее веселом белозубом лице светились темные глаза под сломанными углом черными бровями. Оказывается, Нина так растолстела после тифа, которым болела в Москве.

Вскоре мы слегка разочаровались в нашей сестре, так как, несмотря на веселый и смешливый нрав, она выразила довольно мало интереса к нашим развлечениям. Вставала она поздно, была ленива и медлительна, а когда мы раз пошли с ней кататься на санках, то она сразу же на них уселась и предоставила нам с Тиним тащить ее. В свою очередь, мы ей показались наивными и невежественными дикарями. Беспредельное изумление выразилось на ее лице, когда выяснилось, что мы не имеем никакого понятия об «Интернационале» — гимне Советской России. Когда Нина убедилась, что мы не слышали и таких слов, как «митинг», «пролетарий», «Совдеп», то рьяно принялась уничтожать эти пробелы нашего образования, и вскоре мы пели не только «Интернационал», но и «Варшавянку» и даже «Похоронный марш», в торжественных звуках которого в моей памяти воскресла полузабытая картина похорон жертв революции на Марсовом поле.

Неестественная полнота Нины очень скоро исчезла, но фигура сохранила кошачью мягкость и округлость. У нее было на редкость изменчивое лицо: утром, едва вылезши из постели, она была совсем нехороша — глаза заспанные, движения вялые, медлительные, говорит нехотя, словно тянет, как тянучку какую, — лицо скучное, недовольное. Зато вечером, в обществе, она совершенно менялась. Из заспанной и вялой делалась оживленной и прехорошенькой. Нина очень любила наряжаться и прихорашиваться перед зеркалом. Бывало, наденет на себя какую-нибудь кофточку или платье — обязательно красного цвета! — в уши вставит цыганские серьги, нацепит бус, браслетов и кокетничает перед зеркалом, приговаривая с глубоким убеждением: «Я, может быть, не красавица, но я очень хорошенькая, исключительно хорошенькая! Всякий мужчина, увидев меня, скажет — вот это хорошенькая девушка!»

Она беззастенчиво помыкала своими поклонниками, которые с редкостным терпением переносили ее капризы и насмешки. Особенно доставалось гордому и хрупкому Павлу Петровичу за

его манерность и утонченный вид. Однажды она уговорила нас подстроить ему каверзный сюрприз. В журналах «Нива» на последних страницах был отдел, посвященный объявлениям и рекламе. Особенно часто там попадалась рекламная картинка, восхвалявшая волшебные свойства пилюль «Пинк»: молодая томная дама с поразительно развитым бюстом и тонкой талией мечтательно глядит вдаль, а на заднем плане маячат фигуры нескольких молодых красавцев во фраках — они указывают друг другу на даму с самым восхищенным и многозначительным видом. Внизу был текст: «Если вы хотите пользоваться успехом в обществе, быть красивой и привлекательной, — употребляйте пилюли Пинк! Они сообщат вашей фигуре пышные формы, вы почувствуете прилив сил и жизненной энергии!» Наша сестрица повелела нам накатать из глины маленьких шариков и после просушки всыпать их в пузырек из-под какого-то лекарства. К пробке она приделала бумажный ярлык, наподобие тех, что привешивают аптекари к своим микстурам, на нем мелкими печатными буквами был переписан текст объявления о волшебных целительных свойствах пилюль «Пинк», причем слова о пышных формах были подчеркнуты. Этот пузырек Нина тайно сунула в портфель Павла Петровича, случайно забытый им у нас в кухне. К сожалению, наш учитель слишком хорошо умел владеть собой, так как никаких перемен в его лице на следующий день мы не нашли — он был по-прежнему корректен, вежлив, и его манеры сохранили свою изысканность и изящество. Однако он совсем перестал жаловаться на слабое здоровье и хрупкость пальцев.

В общем, мы скоро привыкли к Нине, перестали удивляться ее нерасположению к нашему образу жизни и с воодушевлением взялись за покинутые было занятия. Занятий было много, нам не хватало времени, мы всегда торопились и для скорости бежали, срезав хлыстик и пришпоривая себя им по голым ногам.

Большой нашей страстью было собирание грибов — их много росло в большом лесу «за колодцем». Идти туда надо было по тропинкам среди полей, мимо изб с курами, придерживая Берджоню — новое прозвище Варнавы, данное ему Ниной, за кожу на загривке: ходить на ремешке гордый пес наотрез отказался. Тропинка выводила на проселочную дорогу, и мы бежали мимо финской лавчонки, где торговали керосином, свечами и очень красивыми, пестро вышитыми кожаными кисетами для табака. В лавке были целые коллекции финских ножей — хорошеньких кинжальчиков с круглой ручкой и слегка загнутым кончиком, они вкладывались в ножны и прикреплялись к поясу ремешком. Кинжалы были разной величины — от самых

больших до совсем крошечных — и составляли предмет наших вожделений. Нечего и говорить, что мечты так и остались мечтами, и приходилось, только благоговейно рассматривать запретное оружие, развешанное под потолком рядом с кисетами, метелками и ведрами. Тут же висели хомуты, уздечки и прочая лошадиная сбруя, вплоть до тележных колес. Медлительные финны-покупатели достойно стояли у прилавка и молчали. С продавцом они обменивались, по-видимому, одним им понятными условными знаками, так как я никогда не слышала из их уст какой-нибудь членораздельной речи, а лавочник каким-то образом всегда знал, что им подать. Меня всегда охватывала страшная робость в этой лавке — финны стоят, попыхиывают трубочками и глубокомысленно созерцают выставленные хомуты. Казалось немыслимым подойти к прилавку и выговорить свое желание — такая священная тишина стояла вокруг. Когда же наконец решаешься и подходишь, лавочник вопросительно взглянет, и тут с ужасом убеждаешься, что все сахара и керосины тети Наташи совершенно испарились из головы, а ведь всю дорогу я твердила наизусть нехитрый список ее заказов! Бессмысленно топчешься и наконец шепчешь сдавленным голосом: «Коробку спичек, пожалуйста...» Берешь ненужный коробок, платишь что-то и в полуобморочном состоянии выходишь. Когда звякает колокольчик на двери и она захлопывается за спиной, совершенно неожиданно все вспоминаешь — и что же теперь делать? Долго стоишь у порога, рассматриваешь чистеньких лохматых лошадок, терпеливо ожидающих — уши врозь, дугою ноги — своих хозяев, мучительно собираешься с духом и опятьходишь. Картина та же, только теперь финны дружно вперяют свой взгляд в бочку с квашеной капустой...

Итак, миновав лавчонку, пройдя мимо сапожника и портного, сидящего, скрестив ноги, на столе перед окошком, мы сворачивали в сторону, и вот уже и знаменитый колодец с журавлем, за которым темнеют могучие ели огромного дремучего леса. Дорога из теплой и пыльной делается сырой и прохладной, глубокие колеи наполнены холодной водой, торжественная тишина обступает со всех сторон, как стеной, невольно начинаешь говорить шепотом, оглядываешься боязливо — за деревьями чудятся одичавшие коровы, те самые, о которых рассказывают столько страшных историй. Преодолевая робость, сходишь с дороги и углубляешься в чащу. В ней так много таинственного! Вот небольшое озерцо с темной зеркальной водой, — наверное, то самое, на берегу которого сиживала, пригорюнившись, Аленушка, с тоской всматриваясь в его черную

глубь: «Где же братик мой любимый, дорогой мой Иванушка?» Быстро проходишь, стараясь не глядеть на большую лягушку, важно сидящую на мшистом камне над самой водой — не золотая ли ее коронка отражается в темном зеркале лесных вод?

В самых дремучих местах, где сучья, поросшие белесоватым мохом, глухо ломаются под ногой, где почва сыра и хлюпают толстые мохнатые кочки, возникает вдруг из-за ели таинственная старуха. Горбатая, совсем седая, с вязанкой дров за спиной, в морщинистых пальцах зажата суковатая палка, а пальцы-то скрючены не хуже тех узловатых корневищ, о которые так больно спотыкаешься босыми ногами. Старуха исчезает бесшумно, как дух, — не баба-яга ли это, заготавливающая топливо для своей избушки на курьих ножках? Скорее подальше от этих мест, все равно грибов не видать, хотя спертый воздух полон их запахом и громадные мухоморы раскинули свои красные зонтики в зеленом бархате мха. Вдруг неподалеку слышится немного сиплый, но торжественный голос Тина. «Ура, ура, ура!» — кричит он. Согласно неписаным законам сборщиков грибов, этот троекратный победный клич означает, что счастливiec нашел белый гриб!

Моментально забываешь про всех коров и старух на свете и начинаешь лихорадочно искать. Расширенные глаза обшаривают мох, оглядывают каждый корень, каждую кочку — напрасно! Одни пошлые сыроежки да никчемные поганки маскируются во мху под благородные белые грибы, каждый раз заставляя замирать сердце в безумной надежде. Бормоча проклятья, со злостью пихаешь их ногой, и вдруг замираешь — под маленькой елочкой целое семейство настоящих, восхитительных грибов! Застываешь в безмолвном восторге — они так красивы со своими темно-коричневыми шляпками, на толстенных ножках! Вот папа и мама стоят рядышком, а к ним прижимаются их детки. Опрометью бросаешься на колени в мох — дрожащий от жадности палец запускается в землю и осторожно выковыривает гриб, в то время как другая рука шарит вокруг, приминая мох, а выпученные глаза все рыщут и рыщут по сторонам. Наконец, когда все семейство благополучно уложено в корзинку, место вокруг тщательно обследовано, открываешь рот и выпускаешь троекратное «ура» с передышками — ровно столько раз, сколько грибов было найдено. Ликование звучит в моем голосе, его звук наполняет сердце Тина жгучей завистью, — раздвигаются ветки, и его огорченная фигура выползает на полянку. У него в корзине перекатывается всего лишь один здоровенный шлюпик с помятой шляпой и зеленой слюнявой губкой под нею, к тому же он явно червив, так что вряд ли стоило кричать «ура» на весь лес.

Ревнивый взгляд Тина ощупывает содержимое моей корзины, и, поблуднев от зависти, он хмуро вглядывается в разрытый мох: что, если я не заметила какой-нибудь грибок? «Нет, нет, уходи, здесь мое место!» — возмущаюсь я, и Тин покорно исчезает — таков второй неписанный закон грибников.

Мне определенно везет, но колесо фортуны поворачивается, и вскоре Тин оглашает лес бесконечным криком — черт знает что! — он кричит десять раз! До чего же неприятен его громкий, хвастливый голос...

Но вот уже корзинка наполнена отборными грибами, ноги исцарапаны, вымочены в воде, большие пальцы саднит от бесконечных ударов о корни, волосы спутаны — в них застряли паутинки и хвоя, платье измазано и, увы, даже слегка порвано, — то-то будет ругаться тетя Наташа! Тин тоже являет собой довольно плачевное зрелище, но зато его замурзанная физиономия сияет. Мы вылезаем из чащи и, осмотрев содержимое корзин, остаемся довольны результатами. Выйдя на опушку, мы усаживаемся на нагретый солнцем откос. Оказывается, солнце уже сильно склонилось к западу — но до чего же светло, хорошо кругом, какой теплый, ласковый ветерок, как синее небо, как привольно дышится после сырого и спертого воздуха темного леса!

Мы вынимаем из карманов припасенные заранее ножички и тщательно чистим грибы — мы рассматриваем каждый гриб в отдельности, любимся им и, конечно, считаем. У Тина оказывается девяносто шесть грибов, а у меня восемьдесят семь, но я не в обиде, так как мы справедливо решаем, что шлюпики и червивые не в счет, и получается, что в общем мы собрали одинаково. Расположив грибы самым живописным образом — помятые и некрасивые внизу, крепкие красавцы на самом видном месте, — мы отправляемся в обратный путь. Предварительно мы еще подходим к колодцу и опускаем бадью в далекую темную воду — в ней отражается необычайно четко кусочек ярко-голубого неба и на его фоне наши физиономии, как на цветной фотографии. Дружно перебирая руками по гладко отполированному шесту, мы вытаскиваем тяжелую, покрытую слизью и зеленью бадью и, проливая себе на ноги, пьем, как лошади, — прямо из середины. Зубы немеют от ледяной воды, ноги зябнут, капли текут по подбородку за шиворот, но мы жмуримся от наслаждения — нигде не было такой вкусной воды, как в этом колодце.

Напившись, умывшись, немного пригладив волосы, мы бежим своей знаменитой «мендель-рысью» по пыльной дороге, замедляя бег и постепенно переходя на шаг против окон редких

домиков, — надо же предоставить людям возможность полюбоваться нашими грибами и оценить достижения опытных грибников.

Дома торжественное вынимание грибов из корзины, любованье ими, восхищение тети Наташи, даже не выругавшей меня за порванное платье.

Мы искали грибы и в ближайших окрестностях, и даже в собственном саду. Так, под березками, стоявшими группками по три деревца в каждой, иногда встречались хорошенькие крепкие подберезовики, а в осиновой рощице, видневшейся из окна кухни, я нашла однажды ярко-красный, здоровенный подосиновик.

В сопровождении верного Берджони мы излазили все закоулки запущенного сада Плаксиных, где никто уже не жил. Мы перелезали через забор в сад дачи «Теплый уголок», перед заросшим травой крыльцом которой росли два высоких серебристых тополя, — когда дул ветер, их листья поворачивались изнанкой вверх, и были они мягкими, ворсистыми, как бархат, и действительно серебрились, трепеща на своих длинных стерженьках.

Наш сад совсем заглох. Дорожки, некогда тщательно расчищаемые, заросли травой так густо, что только посередине виднелась узенькая тропинка; цветы на клумбах и вдоль дорожки к обрыву захирели под могучим напором полевой растительности — только иногда из зарослей вспыхивал яркий пламень чудом уцелевшего садового мака. Кусты сирени и жасмина под окнами наших детских разрослись в непролазную чащу, и измельчали гроздья белой сирени, но все тот же навеки знакомый и сладкий аромат стоял на дорожке под окнами. Через эту дорожку протягивались цепкие плети шиповника, по-прежнему усеянные белыми, розовыми и красными цветами, — казалось, он один сопротивляется времени и заброшенности. Шиповник цвел с ранней весны до поздней осени, на нем одновременно можно было видеть и цветы, и бутоны, и спелые красные плоды, он был необыкновенно красив и неистово колюч — его нельзя было перескочить, через него нельзя было перелезть, и его жизненная сила и оптимизм внушали доверие и неясную мечту о том, что, может быть, не все на свете так грустно и преходяще.

Какой одинокой и не нужной никому была дорожка через обрыв, над которой так трудился папа и которая теперь обваливалась, осыпалась и зарастала жадной и жестокой травой, так нагло глумящейся над хрупкой человеческой жизнью.

Весенние воды размыли дамбу, крепившую берег Черной речки, снесли белую пристань. Давным-давно покосился нарядный домик купальни и исчезли мостки, по которым сходили

в темную воду веселые люди. Но все так же, как и тогда, носились над камышами бесшумные голубые стрекозы и задумчиво скользили по гладкой воде длинноногие пауки. И чем больше разрушались творения рук человека, чем больше уничтожалась самая память о нем, тем яснее проступала великая мощь природы, тем сильнее ощущалась ее сияющая, но равнодушная красота.

Обреченный дом напрасно жметя своими крышами к покосившейся башне, напрасно в безумном страхе глядит он в пространство — неумолимое время медленно, настойчиво и спокойно разрушает его. С бесчувственным равнодушием время отламывает одну черепицу за другой, дожди и ветер секут почерневшие стены дома, их холодное дыхание проникает в пустые комнаты, шевелит ветви дикого винограда, стучит в пыльные окна.

И всегда над умирающим домом кружит стая ворон. Они садятся на гребень крыши, на трубы, на башню. Они кричат, волнуются, спорят о чем-то. Вот вороны все сели и как будто бы успокоились, но стоит какой-нибудь из них вдруг взлететь, как вся стая с хриплым карканьем срывается с крыши и начинает кружиться, метаться в непонятной тревоге. Когда они улетаю, как будто бы договорившись о каком-то важном, неотложном деле, дом недолго остается покинутым. Откуда ни возьмись, появляются еще две вороны. Они садятся на гребень крыши и деловито осматриваются. Одна из них поворачивается к соседке и что-то говорит ей отрывисто и недовольно, та молча пожимает крыльями, как плечами, и устраивается поудобнее. Нахохлившись, они терпеливо сторожат дом.

Из окна флигеля мы с Тином наблюдаем за ними — это сторож и его жена, говорим мы. Если жене сторожа надо отлучиться куда-нибудь, он остается один и в полной неподвижности сидит, как бы ведя счет времени, прислушиваясь к его бесшумному полету, к медленному биению сердца покинутого дома. И мы верим, что, пока сторож здесь, с домом не может случиться ничего плохого, он оберегает его — верно, бескорыстно и постоянно. Но вот опять летит шумная стая — сторож взлетает ей навстречу, и опять вороны кружатся в стремительном хороводе, и нам непонятен и жуток их гортанный крик.

Когда мы уходим куда-нибудь далеко, то, возвращаясь, первым делом смотрим — сидит сторож? Да, он, или его жена, или оба вместе, но непременно одна из ворон каменным изваянием вырисовывается на фоне светлого неба. И мы довольны.

Зимой мы мало думаем о доме. Зимой его крыша покрыта

толстым белым покрывалом, как одеялом, — он спит спокойно, как и вся природа вокруг. Это понятно, и беспокоиться не нужно — во сне с ним ничего не может случиться. Но и зимой вороны продолжают нести свое дежурство — в одиночку и группами, а иногда устраивают свои изумительные сборища, шумно обсуждая новости дня. Бросишь взгляд на дом и бежишь поскорее по своим делам.

Согласно традиции, мы строим дом из снега. Постройка подвигается медленно, и я нахожу, что делать из мокрого снега «поросят» очень сложно: во-первых, мороз и снег не лепится, во-вторых, воду надо носить издалека, ручей замерз, воды в нем мало, и даже бочку на кухне наполняют больше снегом, и он медленно тает там. Мы долго ломаем себе голову, чем бы заменить «поросят», пока нас не осеняет блестящая идея: на дороге, что проходит мимо забора нашего сада, имеется масса твердого, утрамбованного лошадьми и санями снега, чем не готовый строительный материал? Мы берем наши старые испытанные санки, обитые сукном, — они одни остались от прежнего великолепия, — вооружаемся лопатой и выкапываем длинный и толстый пласт укатанного снега. Он имеет прямоугольную форму и настолько тяжел и толст, что мы с трудом взваливаем его на сани. На дороге остается глубокая яма с отвесными стенками. Нечистая совесть говорит нам, что портить таким образом дорогу — сущее преступление, ведь ночью лошади легко могут сломать себе ногу, внезапно провалившись в яму, да и днем это небезопасно — сани могут перевернуться. Все эти соображения заставляют нас обтесать слегка отвесные края ямы и засыпать ее снегом. Вскоре вся дорога имеет странный вид — не то здесь падали некие бесшумные снаряды, не то кто-то большой вдруг решил вспахать ее гигантским плугом. Вид прекрасного строительного материала, так легко доставшегося нам, быстро притуляет угрызения совести, — мы счастливы.

В самый короткий срок были возведены стены, перекрыты досками, с крыши устроен покатый спуск: дом отвечал всем требованиям строителей — в нем можно было жить и с него можно было съезжать на санях. Кроме того, он послужил прекрасным наблюдательным пунктом для Берджони, который, будучи выпущен из дома гулять, тотчас взбегал наверх и с независимым видом обозревал окрестности, — если представить себе, что он мог скрестить себе лапы на груди, то чем не капитан Немо на Южном полюсе? Из окна кухни мы любовались этой живописной картиной: стройная фигура Берджони вырисовывалась на фоне бледно-голубого неба, пар вырывался у него из пасти при лае, которого нам за окном не было слышно,

уши развевались по ветру, а вспугнутые им вороны сидели на соседних деревьях и, склонив головы набок, всматривались в него одним глазом.

Мы часто получали письма от мамы и Саввки из далекого Берлина. Саввкины письма были полны описаний громадного города, его парков, «унтергрунда» (метро), шумных улиц. Он невозможно хвастал своими познаниями в немецком языке и красочно описал, как однажды какая-то старушка попросила его показать ей Ильменауэрштрассе и как он проводил ее туда и все объяснил. Ничего особенного, на мой взгляд, в этом не было, так как мама сняла квартиру как раз на этой улице, — Саввке ли не знать, где он сам живет?

Дело с нашими бумагами тянулось бесконечно, наконец мы перестали беспокоиться, так как нам было хорошо и так. Но вот однажды нам было велено отправиться в Териоки к фотографу — для заграничных паспортов понадобились фотографии. Опять пахло близким путешествием. Визы, паспорта — эти слова говорили о том, что отъезд не далекая мечта, а самая настоящая действительность.

Очень хороша была эта поездка в Териоки в санях-розвальнях, набитых душистым на морозе сеном: укутанные во всякие тулупы и дохи, мы лежали, высунув одни носы наружу, и смотрели, сощулив глаза, назад, на дорогу. Она бесшумно и быстро выныривала из-под кузова саней, разворачивалась, как лента, сначала мелькали, сливаясь в полосы, следы, замерзшие лошадиные яблоки, блестящие желобки от полозьев, а если посмотреть вдаль, то движение замедлялось, и заснеженные ели по сторонам дороги уплывали, раздвигаясь и сходясь плавными кругами, так что голова начинала тоже тихо кружиться, а тело делалось невесомым, как во сне. Слева пошли знакомые дачи «карниша» — вот «Пенаты», вот Лобек и Химонен, а вот вдруг оборвался лес и до самого горизонта открылась белая безбрежная равнина замерзшего моря с голубоватыми дымками Кронштадта.

Фотографии, надо сказать, получились неважные. Тетя Наташа старательно причесала меня — распущенные волосы падали на плечи, на макушке красовался большой голубой бант. К сожалению, меховая шапка — папина! — безнадежно придавила завивку, пышный бант смялся, и получилась на фотографии испуганная физиономия с полуоткрытым ртом и выпученными глазами, на голове не то мочалка положена, не то пропеллер вертолета, если на него смотреть сбоку. Особенно не понравились мне это обалделое выражение и разинутый рот. «Ворон считала?» — не преминул небрежно спросить ехидный Тин. Лучше бы помолчал, его портрет вышел не удачнее моего, а Нина

получилась толстой и заспанной, а «нос как турецкая сабля», по выражению того же Тина.

Из Териок мы ехали, развалившись на сене, поглядывая то на позеленевшее по краям небо в узком просвете дороги — на нем уже зажигались бледные мигающие звезды, — то на хвост лошади. Очень интересно было смотреть на лошадиные ляжки со сбившейся сбруей, которая в одном месте стерла короткую шерсть, и виднелась темноватая, мозолистая кожа. Запах сена, лошади и мороза вместе с плавным скольжением саней постепенно убаюкивают нас, глаза сладко слипаются, чуть приоткроешь их — все сделалось синим: небо, снег, ели по сторонам... А мы все едем, едем, и вдруг знакомая мелодия начинает нежно звенеть в ушах — это песенка Тролля, лукавого карлика из норвежских сказаний, он поет, приплясывая между рогов несущегося северного оленя. Все тише, тише звучит тоненький голос, постепенно удаляясь и замирая, — это поет сама тишина.

Вдруг лай Берджони, толчок, резкий свет в глаза. Вот так так! Оказывается, мы стоим перед крыльцом нашего флигеля, и верный Берджоня заливается сумасшедшим лаем, прерываемым взвизгиваниями его нервной зевоты. Я приподнимаю голову, и в тот же миг теплый язык собаки облизывает мне лицо, как будто бы кто умыл меня мокрой и теплой тряпкой. Спросонья отворачиваешься, отпихиваешь гибкое мускулистое тело Берджони, а он вырывается и тем же порядком умывает слабо сопротивляющегося Тина, который, отплевываясь и бормоча проклятья, никак не может проснуться.

Фотографии для паспортов — реальный признак близкого отъезда, а тающий снег и лиловые гроздья подснежников среди прошлогодних листьев на полянках — несомненные признаки весны. И весной я заболела. Я сильно промочила себе ноги, пришла домой усталая, с какой-то тяжестью на сердце, как в предчувствии близкой беды. Увидев мое красное лицо, тетя Наташа пощупала мне лоб своей прохладной шершавой рукой, уложила в кровать, сунула под мышку градусник. «Тридцать восемь и шесть», — услышала я сквозь тяжелую дремоту.

И вот началось скучное лежание в постели, какие-то микстуры. Часто приходит доктор, качает головой, прикладывает к груди и к спине свою черную палочку с кружочками на концах: тот, что побольше, холодит горячую грудь, а тот, что поменьше, доктор прикладывает к своему мясистому уху, которое я вижу перед самым моим носом, — из него торчат седые волосы, как клочья мха на стволе сосны, обращенной к северу. Он задерживает дыхание, прислушиваясь, а я глубоко дышу и слышу,

как в жилетном кармане доктора звонко и мелодично тикают его золотые часы с отскакивающей крышкой.

Доктору не нравится, что небольшая температура упорно держится, что я плохо ем, по ночам странно потею, часто плачу... Где ему понять, этому старому человеку, что я плачу потому, что за окном ослепительная весна, что ветки березы с набухшими почками качаются как сумасшедшие, опьяненные светом, воздухом и гомоном ликующих птиц. Что в окно мне виден кусок яркой синевы — на нем белое облако, как вздутый ветром парус, отчаливает в неведомые далекие страны, зовет за собой, манит в эту бездонную синюю ширь. А я лежу в постели, глотаю горькую микстуру, и заботливая тетя Наташа каждые два часа приносит и уговаривает съесть то гоголь-моголь, то блинчики с вареньем, то стакан сливок, в то время как мне и смотреть не хочется на еду.

Запахавшийся Тин вбегает в комнату — он весь пропитан свежим ветром синих просторов, его щеки красны, в запачканных землею руках веточка тополя с толстой клейкой почкой. «Ты только понюхай, как пахнет!» — кричит он и тычет мне в лицо этой почкой. Закрыв глаза, я нюхаю, и нежный и могучий аромат весны, жизни, счастья сдавливает мне грудь щемящей тоской, я утыкаюсь лицом в опостылевшую подушку и горько плачу... «Не для меня придет весна...» — звучат в ушах где-то слышанные слова. Тин растерянно пялит на меня глаза — в его запачканной руке дрожит злополучная веточка. В дверях показывается Берджоня с разинутой пастью — розовый язык свисает у него на сторону, он впопыхах глотает слюну, облизывается, но язык снова вываливается и висит, вздрагивая, чуть ли не до самого пола. Одно ухо у него вывернуто, шерсть на животе свисает мокрыми клочьями, лапы тоже в грязи, его разные глаза ищут моего взгляда, весь вид его так смешон, что я не выдерживаю и смеюсь сквозь слезы. Казалось, Берджоня только и ждал этого — с видом полной забывчивости строгих правил воспитания он срывается с места, явно намереваясь облизать мне лицо. Грозный окрик тети Наташи останавливает его, он виновато плетется вон из комнаты, напрасно стараясь выразить на своей разбойничьей роже смиренное раскаяние.

Я провалялась в постели целый месяц, но мое состояние все еще внушало тревогу — по вечерам на градуснике всегда бывало 37,5°. Все же доктор разрешил вставать, и вот наконец я в первый раз выхожу на крыльцо нашего флигеля. Какой вид! Молодые тополя короткой аллеики, ведущей от крыльца к воротам, стояли стройные, пышные, покрытые блестящими, словно лакированными листьями. Они не шевелятся в нагретом солнцем, совсем уже летнем воздухе, и от них исходит тонкий, нежный

аромат, а ведь когда я видела тополя в последний раз, они были голыми, убогими. Трава была облезлой, как изъеденная молью плюшевая шуба, а теперь откуда взялись эти яркие краски, шелковистость и густота! Дорожка просохла, и по ней двигаются легкие тени молоденьких сердцевидных листьев, ласково и нежно касались эти тени теплой земли, а в одном месте, особенно пригретом солнцем, сидела желтая бабочка — она медленно складывала и раскладывала свои крылышки, насквозь пронизанные светом и теплом, она нежилась, отдыхая. Я не могла вымолвить ни слова и, наверное, взревела бы самым неприличным образом, если бы в этот миг не выскочил с оглушительным лаем Берджоня, выпущенный тетей Наташей. Он ошалело метнулся по дорожке просто так, в пространство, наскочил на бабочку, млевшую на солнце, и растерянно посмотрел ей вслед, когда она легко взлетела и понеслась, будто сдутая ветром, на сияющий луг. Опомившись, Берджоня бросился за ней и даже подпрыгнул в воздух, но его челюсти щелкнули впустую, и он неуклюже брякнулся оземь — передние лапы подкосились, и он зарылся носом в траву. Огромная, ликующая радость меня охватила, — забыв об унылой походке, приличествующей выздоравливающей, я бросилась бежать по дорожке, и Берджоня со своим носом, выпачканным в земле, прыгал вокруг меня.

Несколько дней я еще сидела в плетеном кресле на солнышке, несколько раз мне еще поставили градусник — температура была нормальной, потом забыли, потом опять вспомнили, но нигде меня не могли найти, да так и оставили это дело. Опять мы с Тином рыскали по окрестностям и, срезав хлыстики, бегали к Сиркэ с кадыком, гулко стуча босыми пятками по дорожке, что под елями. Одним духом мы пробежали рощицу, где когда-то был найден диковинной величины мухомор, сбегали, вернее, съезжали в овраг, на дне которого тихо журчал ручей, — он образовывал маленькую запруду, где сновали фигуристы-пауки, — по берегам ручья росла заячья капуста, которую мы с аппетитом поедали. Другая сторона оврага была уже нашим владением — поднимаешься по крутой тропинке из тенистого прохладного оврага, и вот уже, весь освещенный солнцем, предстает перед тобой большой дом. Он выглядит совсем веселым, и только внимательный взгляд замечает, что его красная крыша, зеленый наряд дикого виноградника на его стенах — все это только нарядное платье, в какое одевают мертвеца, укладывая в гроб, никому не нужное мертвое тело, которое покинула душа.

А потом была пасха, и мы ходили к заутрене в ту красивую церковь с кладбищем, где был похоронен папа и где сидела

задумчивая статуя женщины со своим бронзовым мишкой. В этой церкви я покрыла позором свое имя, так как игнорировала все церковные правила и крестилась, к изумлению верующих, левой рукой. Я думала, что это все равно, а в правой у меня была свечка — какая может быть разница? Не такого мнения были тетя Наташа и Нина, они совершенно извели меня издевательствами над моей дикостью и недостатком религиозного воспитания. Вообще стояние в церкви было для меня сущей мукой — я никогда не могла угадать, в какой именно момент надо становиться на колени, а когда вставать и после какого возгласа священника необходимо перекреститься. Приходилось все время внимательно следить за окружающими, быть начеку, и к концу службы у меня вырабатывался странный рефлекс — стоило кому-нибудь махнуть рукой или просто поправить прическу, как я тотчас поспешно крестилась. Все это только отвлекало и мешало сосредоточиться на других, куда более интересных вещах — на огоньке свечки, который надо было оберегать от затухания, на рассматривании одежды священника, которую он часто менял, как актер в театре, на его таинственных уходах за кулисы, то есть в алтарь. «Что он там делает, когда его никто не видит? — думала я. — Наверное, просто прячется и отдыхает? А может быть, закусывает тайно тем вкусным тепленьким вином с просвиричными кубиками белого хлеба?»

А под куполом так красиво летают проворные ласточки — они пересекают луч солнца, который голубым столбом прорезает полумрак высокого свода, в этом луче плавают голубые струи ладана и вспыхивают зелеными и красными огоньками цветные стекла узких окон.

Своими наставлениями Нина испортила мне всю обратную дорогу с заутрени, когда необходимо было донести горящую свечку до самого дома, — штука трудная, так как изволь оберегать слабенький огонек от ветра да еще смотреть себе под ноги. А ведь сама бабушка Анастасия Николаевна однажды с умилением рассказывала папе, как хороша была какая-то заутреня, на которую папа не пошел. «Такая благолепная, красивая служба была, Ленушка, — говорила бабушка, — вокруг церкви хирургов носили!» Перепутала ведь бабушка хоругви с хирургами, — еще папа так страшно смеялся и недоумевал, почему именно хирургов. «Может быть, терапевтов?» — спрашивал он бабушку. Вот это, я понимаю, ошибка, а то подумаешь, несчастье — левой рукой перекрестилась!

Вот и пасха прошла, вот и паспорта наши готовы — неужели в самом деле отъезд близок? Мы с Тином уже ни о чем другом не можем думать, мы считаем дни, мы всей душой уже там, в поезде,

и — подумать только! — на пароходе! Так как мы едем сначала поездом до Выборга, потом пересаживаемся в другой поезд, который ночью выезжает в Гельсингфорс, а в Гельсингфорсе мы садимся на большой пароход «Рюген», на который у нас куплены билеты первого класса, и два дня и три ночи плывем через все Балтийское море в Штеттин, где нас должна была встречать мама. Только представить себе такое путешествие!

Чувствовали ли мы сожаление, покидая, быть может навсегда, Черную речку, наш любимый дом, наш сад — все родное, бесконечно милое? Нет! С бесчувствием и легкомыслием молодости мы ни разу не задумались, не пожалели, не заплакали. Одно только нетерпение — скорее, скорее ехать! Только об одном мы думали с тоской, с глубоким сожалением — что делать с бедным Берджоней? Нечего было и думать взять с собой собаку за границу — она должна была остаться. Кому же отдать ее, кто из знакомых согласится взять пса, завоевавшего себе такую дурную славу ловлей кур? После долгого упрасивания наши учителя, братья Лыжины, согласились наконец приютить нашего Берджоню, заботиться о нем и кормить. Они обещали воздействовать на его мораль и, отучив от преступных наклонностей, восстановить в глазах общества его репутацию.

И вот настал наконец день отъезда. С Берджоней мы простились еще накануне. Пришел Юрий Петрович, чтобы отвести его на свою дачу. Берджоню долго не могли найти: — шел дождь — и он где-то рыскал по саду. Наконец он вбежал в комнату. Запыхавшийся, веселый, с мокрыми лапами и животом, он прыгнул на диван, на свое место посередине, где была вмятина, хранившая следы его тела — прилипшие кусочки грязи и несколько белых волосков. Я кинулась к нему, обняла — мокрого и грязного, прижалась щекой к мягким, бархатистым ушкам. Он вырывался, глупый, он не мог понять, что ведь это расставанье, что в этот миг кончается его собачье счастье, никто уж не станет его так любить, ласкать, не будет звать Берджоней и любоваться им. Он превратится в Варнаву, чужую собаку, некрасивую и злобную, которую, быть может, посадят на цепь на чужом дворе, перед чужим домом.

Берджоня нетерпеливо отдергивал свою голову и отмахивался лапой, когда я жадно целовала его морду, пахнущую псиной и дождем. Его розовый, как ломтик ветчины, язык облизал мне лицо, мокрое от слез, и в его разных глазах мелькнул веселый огонек — он вообразил, чудак, что я с ним играю... Потом он вырвался из моих ослабевших рук, соскочил на пол, и в последний раз передо мной мелькнули желтые водоворотики на его ляжках, когда он выбежал, веселый и довольный, из комнаты.

А утром на следующий день светило безмятежно солнце, и омытый вчерашним дождем сад сверкал радостью и полнотой жизни. На дороге перед воротами стояла телега, нагруженная нашими чемоданами и свертками, озабоченная и заплаканная тетя Наташа, размахивая зонтиком, загоняла нас садиться, а старушка Лиза, которая жила в домике через дорогу, говорила нам дрожащим голосом: «Уезжаете, детки? Бог знает, приедете ли еще когда-нибудь? А может быть, через много лет, когда будете все давно замужем и женаты, приедете со своими детьми, чтобы показать им, где прошло ваше детство...»

Как это — прошло наше детство? Неужели наше детство прошло? Как странно говорит эта старуха — чтобы я приехала сюда со своими детьми? Какая нелепость! Все это я думаю, а в то же время что-то холодное коснулось моего сердца, и я расширенными глазами посмотрела вокруг. И с предельной ясностью я вдруг поняла, что старуха права, детство в самом деле кончилось, и никогда я уже не увижу наш дом, наш сад, нашу дорогу Черную речку. Вдруг померкло сияющее солнце, замолкли веселые голоса птиц, и только тополя зашумели вершинами, как будто бы их тоже коснулся холодный ветер расставания. А телега уже тронулась, и вот в последний раз наш сад проплывает мимо меня. Остановившимися глазами я вижу за березами красную крышу большого дома — он смотрит мне в глаза, и мне чудится, что он улыбается, прощаясь со мной. Он улыбается доброй и ласковой улыбкой, в которой нет горечи, обиды и слез, и ласково машут ветви старой березы, что стоит в конце сада у самого забора, и ласково кричит стая ворон над крышей дома, прощаясь со мной. Почему же тяжелое предчувствие сдавило мне грудь, будто отдернулась завеса и на короткий миг предстал передо мной длинный ряд дней, уходящих в темную даль будущего, — дней печальных и радостных, серых и ярких, — дней моей жизни, которые все мне было суждено прожить вдали от родины.

А рядом сидел Тин — маленький и худенький мальчик, мой дорогой братик, мой двойник, который в мыслях моих неотделимо присутствует всегда, без которого я не могу представить себе жизнь. И он тоже побледнел, и глаза его, расширившись, с каким-то ужасом смотрят на дом, а длинная верхняя губка дрожит. И мы видим: в последний раз мелькает освещенный солнцем дом, и вдруг черные ели в саду Гонэ разом застилают его, точно перечеркивают черной тенью солнечный образ нашего детства.

Много лет спустя, в 1936 году, мой брат Савва в составе

труппы русского балета выехал из Парижа в турне по Скандинавским странам. Балет посетил также Финляндию и дал в Гельсингфорсе несколько представлений. Брат решил воспользоваться счастливым случаем и в свободный от спектакля день отпросился с репетиции и поехал на Черную речку.

Вот как он описывает в письме к маме свою поездку.

«...Волнение было велико. И самый внезапный отъезд, и спешка, и ночное время, и абсолютная неподготовленность. Но времени не было, это был единственный случай. Расскажу тебе подробно. Слушай.

Выбежав из театра, вскочил в такси и погнал на вокзал. Оставалось пятнадцать минут до отхода поезда. Ночь была холодная, морозная, светил снежок. На вокзале приобрел билет третьего класса и спальное место. На белом перроне светились окна моего поезда, поднимался белый пар. Свистнул паровоз, и я покатил. Голодный и взволнованный. Не верилось, что я еду на Черную речку, к нам домой. Вообще вчерашний день для меня как сон приснившийся. Сначала стоял у окна и смотрел, как неслись черные леса в белом снегу, клубы пара, белая снежная насыпь. Сон слипал глаза, прошел в свое купе, разделся и проспал сладко всю ночь. Несся, покачиваясь, поезд, неся в родные края.

Разбудил меня возглас кондуктора: „Виипури!“ Вскочил, оделся. Было семь часов утра. На перроне было холодно. Еле светало. Выпил кофе и опять сел в поезд, на котором было написано — „Перкиярви“. Спать уже не хотелось. Сидел у окна и смотрел. Вставало из-за нежных облаков бледное, желтое солнце. Небо было голубое, и были чудные снежные поля, леса, заметенные снегом убогие избы. Началось все такое родное и близкое.

У изб стояли сани с финскими лошадками. Был сильный мороз, и все было заиндевшее, и отовсюду шел пар — из ноздрей лошадок, изо ртов промерзших финнов. Начались знакомые названия: Мустаямки, Райвола...

Но здесь произошла немного неприятная история. Финский жандарм в меховой шапке, с револьвером у пояса, спросил у меня паспорт. Паспорта со мной не было! Я кое-как объяснил, в чем дело, — он от меня не отставал. На Тюресева мне не дали слезть, а повезли в Териоки. Там меня передали в руки другого жандарма — молоденького, румяного, с голубыми раскосыми глазами. Он повел меня в полицию. Вокзал Териоки я узнал, но к волнующим впечатлениям от родных мест примешивалось не совсем приятное волнение от сознания ареста. Было очень холодно — 12° мороза! Все было белое от снега. Под ногами снег скрипел и визжал, как стеклянный. Нос, щеки и уши щипало здорово.

Мой жандарм шел быстро в своих высоких сапогах — он мне нравился, особенно его голубые глаза и высокие сапоги. В полиции я сидел час. И наконец мне сказали, что я не смогу ехать в Ваммельсуу. Я чуть не плакал. Еще раз они позвонили начальнику сыскной полиции. И меня повели к нему. Начальник чудно говорил по-русски, конечно, знал Андреева и прочее и мило отпустил меня, сказал, чтобы я обязательно поехал назад с девятичасовым поездом, иначе меня еще раз арестуют.

Сердечно его поблагодарив, я выскочил на морозный снег. Светило солнце, и все было так замечательно. Денег у меня было в обрез, так что я решил идти пешком. Мысль о том, куда я иду, давала мне силы, а морозный солнечный день и дарованная свобода наполняли душу радостью.

Было все так чудно и все как во сне. Я узнавал места — высокую белую церковь, магазины. На одном виднелась русская надпись: „Фрукты, анчоусы, вядчина!“ Скрипел утоптаный снежок, проносились сани-розвальни с типичными, в меховых шапках и валенках, финнами с сосульками на усах. Звенели колокольчики на дугах мохнатых лошадеенок, с седыми от мороза мордами и такими же животами. Все это было до того близко, до того знакомо. И каждый след на снегу, и каменноподобный навоз лошадей, и проезжающие мимо мальчишки на... подкукелках и лыжах. Я шел и непрерывно, всеми фибрами своего существа, впитывал окружающее. Зашел в „кахфилу“ — кофейную. Заказал „лейпэ-войтокахфия“, и мне всего дали. Дали мне черный ржаной хлеб с маслом и кофе. Выпил я у окошка с видом на белую дорогу и на замерзший колодец с... журавлем! Закуска дала мне огромный запас энергии. Я весело пустился в путь!

А путь мне предстоял немалый. Я главным образом дрейфил мороза — хватит ли меня на двенадцать километров, не заковенеют ли у меня руки и ноги. И вот началась териокская дорога через леса и леса. Я шел быстро и весело. Светило солнце, правда находившееся у самого горизонта, где-то на дереве стучал дятел. Обгоняли меня сани с колокольцами. Кивали финны: „Хювяпйыва!“ — „Пйыва, пйыва!“

С левой стороны открылось море — Финский залив! Лед уже сковал его. У берега белое, дальше оно, по-видимому подтаявшее, серело и отливало на солнце холодным желтым блеском. Горизонт был темен, и Кронштадта не было видно. Я опять шел. К часу солнце скрылось за тучами, и стало еще холоднее, попеременно я засовывал в карман то одну, то другую руку — с обеими в карманах было уж очень неудобно шагать. И правая нога в тонком сапоге начинала замерзать. Еще оставалось километров пять. Я прибавил ходу. С правой стороны начался

„карниш“, с левой потянулись дачи. Я не могу узнать Лобека и других. И вдруг совершенно неожиданно очутился у перекрестка... Сиркэ, мост через реку и высокие ели у другого моста через ручей. Сердце упало — я пришел.

Останавливаться было нельзя. Я решил сначала, пока светло, пройти к дому и потом в церковь. Тут уж каждый шаг был волнующим. Вилла Лыжиных стояла по-прежнему на месте, как и Тортон (кажется). Я шел дальше. Дорога стала узкой — только проехать. Я решил пройти к дому кратчайшим путем через обрыв, мимо елей. Свернул на боковую дорогу. Около елей дороги не оказалось. Пошел по полному снегу, увязая по колено. Указывали путь только следы зайцев. Вот и обрыв — внизу извивами белеет ручей, чьи-то следы на льду. Потеряв „тропинку“, прямо стал спускаться вниз. Было скользко, и я поехал на спине, цепляясь за кусты. В перчатки попал снег, и руки по-настоящему стали коченеть. Вот я и внизу — хрустнул ледок ручья. Я стал подниматься.

Вот я и наверху. Не могу понять, где я, — дома нет. Белое снежное поле. Примеряюсь, рассчитываю, где он должен был быть. Вижу пихты и какую-то рощу. Перелез через забор. Иду, по-видимому, по вспаханному полю, проваливаясь в колдобины. Берез знакомых нет. Вдруг вижу знакомые очертания дворницкой... но дома-то нет! Наконец все понимаю, вспоминаю и точно определяю место, где он стоял. И на этом месте — торчащие из-под снега серые камни фундамента и роща. Роща выросла на том самом месте, где стоял дом. Вот узнаю аллею вокруг него. Кусты сирени, шиповника и жасмина. Маленькая елочка растет на том месте, где был твой кабинет, мама, и там, где папин кабинет, — березка. И сугробы снега, и облезшие, без листьев — молоденькие ольхи, что ли. Останавливаться я не мог. Дул северный ледяной ветер, и мои руки невыносимо ломило. Прошел к дворницкой, вижу — вид жилой, взошел на крыльцо.

Мне открыл один финн со своей женой, его имя Лаурикайнен, он купил это место и живет тут. Говорит по-русски, как и жена его, — очень милые, по-видимому, честные, простые. Раздели меня, посадили к столу. Я еле говорил, корчась от боли в правой кисти. Скоро боль прошла. Лицо горело. Угостили меня чудными щами со сметаной, черным ржаным хлебом, рожь которого выросла на наших полях, с маслом собственной коровы. Потом кильками, жареной картошкой и чаем с вареньем из... шиповника с брусникой. И еще мед — все своего производства. Этот финн уже двенадцать лет живет в дворницкой. У него огород и засеянные поля — сам ест и еще продает. Дом сохранить нельзя было — он начал разваливаться. „Портрет вашего папы храним“.

Повел меня показывать еще раз все. Дворницкая стоит, как прежде, такая же конюшня и все. Но вот — дом...

Пришел к обрыву. Сорвал веточку пихты. Она пахнет так же. Березок посреди сада нет ни одной, и той дорожки со скамейкой и с двумя рядами берез тоже нет — ровное белое поле. А внизу у речки увидел купальню, такую же, как была, — этот Лаурикайнен хранит там сено во время сенокоса. Все ели у Гонэ спилены, нет ни одной, так что все можно узнать с трудом. Флигеля нет тоже — сняли на слом. И в углу сада большой березы тоже нет — „загораживала солнце“... Нет ни Эвереста, ни других тополей.

Попрощавшись с финнами, поблагодарил и пошел к церкви уже большой дорогой через Трехглавую горку. Вот и она — в избе около горки увидел старуху, что-то знакомое показалось. Окликнул. Она меня узнала. Одна из прежних. Живет одна. Все умерли: мать, дети. „Не скучно?“ — „Нет!“ Так живет одна с кошкой среди снега и пустыни... Да!

Спустился с горки. Такая же она в точности. И кузница стоит на месте. Слышался звон подков.

С трудом нашел андреевскую дачу и нашел в ней Веру, ту самую Веру (Андрееву!), в которую был „влюблен“. У нее сын трех лет, и замужем она за Могилянским. Угостили кофе. Прошел дальше к мамаше Гуляевой. Нашел старуху одну, узнала меня. Рассказала, что за могилой все время следит, крест стоит хорошо, шиповник обрезает — чудно цветет летом. Что деньги получила, что фотографии тебе послала. Поблагодарил ее, спросил, как пройти к церкви.

Несмотря на то что было только пять часов, было уже совсем темно. От большой дороги, среди соснового и елового леса, поднималась тропинка, вернее, еле уловимый след среди глубокого снега. Попрощался с Гуляевой.

Было темно и тихо. Проваливаясь в снег, еле разбирая, где тропинка, я шел в тишине среди леса. И вот передо мной белая стена церкви и ее золотой купол. Обошел белую ограду. С тяжелыми шапками снега на ветвях безмолвно стояли сосны. Вот и калитка. Толкнул ее — заскрипела и отворилась. Тихо по снегу шел к той стороне, где могила. Темнели кресты, возвышались белые холмики. Но вот то самое место. Безошибочно узнал его. Черный крест, белый холм и занесенные снегом шиповники — их неясный силуэт. У подножья могилы камень. Стал на колени, поцеловал его. Холодный, в снегу. Раскопал снег на могиле, показалась длинная трава. Нагнулся и зарылся в нее лицом. Трава пахла так хорошо, так нежно и приятно. Холодил лицо снег. Стал на могилу, ощупал крест. Стоит твердо. Крепкий, большой. Обошел вокруг могилы, цепляли шипы шиповника. Еще раз

приложился к холодному камню.

Было совершенно и необычайно хорошо. Это был настоящий храм. Все. И сама белая церковь, и белый снег могилы, ограды, тихо стоящего, как на страже, леса.

Стояла полная тишина. Спускался вниз обрыв, и в глубине его лежало море. Мигал маяк Красной горки, и светились огни Кронштадта. Но это было далеко. У могилы не было ни огней, ни людей — ничего. Только церковь, безмолвный лес и белый снег.

То, что было перед глазами, — было во много, неисчислимо много раз лучше всего возможного. И мне стало радостно и светло. Так хорошо было. Хорошо, что Россия недалеко, хорошо, что у церкви, хорошо, что в такой глуши, и на горе, и над морем. Вся эта гора — с церковью, с соснами — стоит как алтарь перед морем и небом.

И больше нет ничего, и не надо».